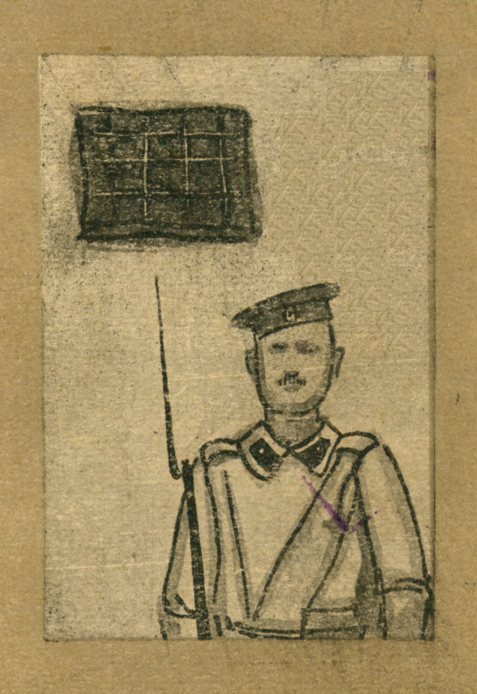
А. АРОСЕВ

КОРНИ



ОГИЗ—ГИХЛ
1933

АЛЕКСАНДР АРОСЕВ

КОРНИ

РОМАН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1933

Отпечатано на фабрике книги «Красный пролетарий» издательства ЦК ВКП(б) партиздата.
Москва, Краснопролетарская, 16.

☆

Тираж 5000
Уполномоченный Главлита Б—27945
Огиз № 35. X—11. Заказ № 6566. Формат бумаги 82×110 $^{1}/_{32}$. Бум. листов $3^{3}/_{8}$ по 125440 зн. $13^{1}/_{2}$ п. листов.

☆

Сдана в набор 11/II 1933 г.
Подписана к печати 13/VI 1933 г.

☆

Редактор В. Васильевский
Технический редактор С. Симонов.
Художник Л. Эппле.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

ПОТОКИ

Видели ли вы, как иногда летом шумно бегут мутные дождевые потоки по придорожным канавам, по горным склонам, по овражьим скатам? Маленькие волны этих торопливых ручейков забавно прыгают по камням и кочкам в извилинах своего случайного русла. Они низвергаются с пригорков, с обрывов, брызжут своей водяной освежающей пылью, растекаются извилисто тонкими змейками и неумолчно, волна за волной, вперебой, как досужие сплетницы, болтают журчаньем и шелестом. Мутные потоки омывают сухую землю и размягчают ее старческие морщины.

Видели ли вы это, и волновалось ли ваше сердце тогда высоким восторгом?

Сердце героя моего трепетало такими веселыми летними днями.

Над дождевыми потоками, бегущими в складках земли и поющими лесу и небу песню о великом исходе воды, несутся—разорванные ветром и солнцем, уставшие от молний и грома—тучи. В их разрывах тут и там уже начинают синеть небесные пространства. Они сверкают последождевой ясностью. На горизонте по зубчатым верхушкам лесов, по скатам, расчерченным четырехугольниками яровых и озимых

посевов, как шахматная доска, по луговым угодьям, по изгибу крутого берегового обреза реки, лоснящегося красной глиной,—в разных местах вспыхивают золотые пятна от солнечных лучей, пучками устремляющихся в расщелины редеющих туч.

Воробьи, воробьи—беспечная птица—суются носиками, крылышками в дождевые потоки. Купаются в их свежести. Маленькие простодушные жители воздуха чириканьем хотят уподобиться пению—журчанью всемощной и великой воды. Воробьи, воробьи, торопитесь испить небесную влагу крохотными вашими клювиками, спешите смочить ваши ветром подбитые крылышки! Славьте чириканьем и воду, и небо, и солнце! А потом улетайте от дождевых потоков в густоту подсыхающей умытой зелени для любовных забав и утех! Любите! Старайтесь заселить кусты и овражки и придорожные канавки и карнизы приветливых домиков своими птенцами. Убегайте чредой ваших птичьих поколений в будущее, которое всегда как туман. Любите воробьих ваших так же ласкательно-нежно, как журчащая вода ссыхающуюся старушку-землю!

И солнце—золоче после сочного дождя, и небеса—синее, и голоса птиц—понятнее, и цветы, и травы, и деревья—ароматнее. Человеческое горе легче. Слезы искупительнее.

Ведро после дождя—счастье после беды.

Сирень белая и лиловая в заброшенном саду пьянила ароматом кудрявую голову Сережи. Сирень своими ветками-лапами свисала с крыши старой беседки. Сережа тонкими пальцами перебирал нежно белые и лиловые пучки сирени, как ребенок ручонками шевелит набухшие соски своей матери. Сереже хотелось целовать сирень.

Шлепанье по вымокшим аллеям сада собачьих ног нарушило тишину и насторожило Сережу: с собакой—значит Катя.

Неужели она?

Не ее, а других ждал сейчас Сережа. Катя тут будет

не у места. Люди—суровые и сухие—должны были притти в заброшенный сад к Сереже.

Сереже вдруг стало жалко Катю за то, что она—такая любимая,—оказывается стесняющей его.

Над кудрявой Сережиной головой открылась голубая небесная синева. Солнце тепло поцеловало его в темя.

Со стороны полей в аллеях сада послышалось шлепанье по грязи нескольких ног. Должно быть идут те строгие, суровые люди, которых ждал Сережа. Навстречу им с другой стороны сада опять послышалась собачья походка. За собакой—Сережа был уверен—следуют неслышные легкие шаги Кати. У Сережи стал вздрагивать средний палец правой руки—верный признак беспокойства.

Никак нельзя, чтобы Катя увидала его с теми суровыми людьми. Она легкомысленно будет смеяться. Она знает Сережу только как нежного юношу, как поклонника Лермонтова и Надсона. А тут вдруг... И что подумают суровые люди, если увидят его вместе с Катей: они обвинят Сережу в неконспиративности и будут считать легкомысленным, недостойным большого дела.

Не спрятаться ли в кусты сирени у забора? Скрыться от тех и другой. Тогда те подумают, что Сережа обманул или что с ним беда.

А минутки, как тоненькие спицы в вертящемся колесе, так и мелькают. Думать некогда. Сережа направился быстрыми шагами к тем суровым людям, которые шли со стороны полей.

Катя остановилась. Обласкала своего огромного сан-бернара, поцеловала его в сопящую морду. Собака и девушка разом вдохнули глубоко легкий воздух. Кажется обеим им стало легче и немного грустно. Они двинулись дальше, в беседку. Потом Катя села. Вынула из сумочки скомканное письмо, прочитала в сотый раз:

„Для Вас, как для большинства, жизнь—искание полезного. Для меня—красота. Вас интересует, что будет. Меня—как все происходит и образуется. Вы бессознательно благословляете устои. Я—презрел их. Вас многое пугает. Я—ничего не боюсь, потому что ничего не жалею. Хотите, я буду откровенным до конца: я не люблю людей, почти не уважаю. Ваша собака больше возбуждает во мне теплого чувства, чем Вы. Не обижайтесь. Поэтому я и не захотел видеться с Вами. А теперь, думаю, все равно поздно.

Ваш „Рыжий“.

Катя в сотый раз покраснела за свое поведение тому назад недели две. В сотый раз порывалась Катя разорвать эту дикую записку. В сотый раз заставляла себя думать о другом: о милом Сереже, о его задумчивых грустных глазах.

Небо над восемнадцатилетней головой Кати было синее. Тучи горбились сизыми волнами за частыми зубцами верхушек далекого леса на горе, к востоку. Птицы перекликались предвечерними песнями. Издалека, с холмов, легкие порывы ветра доносили тонкое пиликанье деревенской гармошки. Если закрыть глаза, притаиться тихо, то в отдаленных шумах, в прозрачных звуках услышишь, как совершается день, учуешь едва уловимую поступь времени, отмеченную ударами собственного сердца. Земля поет и дышит. За трелями птиц, за шелестом листьев, за отдаленной гармошкой, за капелью мелких дождинок на листву ухо различит протяжное и мерное: Зз-зз-зз—это и есть песнь земли.

Катя впервые различила эту песнь, дыхание освеженной земли и солнечный поцелуй. Она обняла собаку—сан-бернара и в ухо что-то шепнула как человеку. И от того, что про собаку она подумала, как про человека, Кате стало немного жутко.

Человек внутренне всегда творит над собой суд и так же, как на настоящем суде—фальшивит. Катя убеждала себя, в утеху сердцу, что „Рыжий“ не искренен, что он просто ломается. Катя еще раз посмотрела в записку, как в лицо, не читая ее, а только стараясь догадаться, что было думано, когда писалось. И не узнав, что было думано, Катя испытала сильное желание, чтоб эта записка перестала быть действительностью. Пусть бы эта жестокая записка была шуточкой или сном. Из нее она сделала крохотную лодочку, какие отец создавал ей маленькой в редкие досужие зимние вечера, низко наклонилась над ручьем и пустила бумажку в дождевой поток, вверила ему свою девичью грустную тайну. Поток сверкал, розовел на заходящем солнце и уносил на волнистом хребте своих струй неприветливое письмо. Поток низверг его вместе с собой в глубокий овраг, прорываясь между двух высоких рябин, словно в ворота.

Из отдаленного леса ползла нежная прозрачная сумеречность. Из-за гор, из-за поворотов аллей сада, из кустов зачинались потемки. Вуалью обнимали горизонт паутинные дрожащие отблески закатных лучей. Катя ощутила легкий холодок, а вместе с ним—впервые—и глубокую грусть всего смертного на закате дня. Катя встала. Щеки ее горели, как во время плача, нижняя губа вздрагивала. Но Катя умеет собою владеть, в ней было воспитание. Она погладила пса. Он понуро зашагал по аллеям сада. Катя слепо пошла за ним. Пес и девушка направились к дому.

Отставной генерал-майор сам открыл дверь дочери и стал выговаривать ей за то, что бедного пса вымочила под дождем, наверное он озяб. Генерал был в простой крестьянской рубашке—белым горошком по синему—лямка—поясок старый с молитвой спустились вниз под отвислый живот генерала. От старика крепко пахло табаком.

— Ты сегодня что-то грустная,—мягко заметил отец,

когда, привычно обнимая ее уже в светлых комнатах, рассмотрел лицо дочери.

— Я устала.

— Ну это ничего, пройдет. Иногда даже хорошо погрустить, поплакать...

По сентиментальному тону отца дочь поняла, что он под хмелем. Он выпивал тогда, когда охватывала его тоска. А выпивал он частенько.

— На деревянном подносе я выжигал Георгия победоносца, хочешь посмотреть?—Генерал так же, как и его дочь, увлекался выжиганием.

Катя обрадовалась старому предложению, как новому. Они в столовой долго рассматривали узоры на деревянном подносе. Слышно было, как за стеной брат Кати девятилетний Коля зубрит закон божий. Над склоненными головами старика и дочери со стены смотрели равнодушно круглолицые часы, мотали маятником, словно дразнили языком, и проглатывали с хрипотой мгновение за мгновением. Весенние сумерки ткали в углах комнат невидимую паутину. В полуоткрытое окно смотрела прянопахучая сырая от дождя сирень.

Пьяненький генерал поцеловал свою дочь, сказал, что она похожа на свою мать покойницу, прослезился и, повернувшись решительно круглой спиной к дочери, пошел спать.

Катя удалилась в свою комнату, маленькую, уютно, прекрасно тесную. Она издалека слышала, как няня укладывала Колю, утомившегося уроками.

Она села на подоконник и старалась угадать, что делает сейчас автор жестокого письма.

Из-за угла генеральского дома в полутьме вынырнула худенькая фигурка Сережи. Он остановился у парадного крыльца и поднял глаза вверх, потому что Катя смотрела прямо на него. Катя приветливо кивнула головой и быстро побежала вниз на улицу к Сереже, сама не зная, зачем это делает.

— Сережа, это вы? Здравствуйте,—она дала ему в руки свои обе.

— Катя, я не видел вас три дня...

— Не говорите этого... так не говорите.

— Напротив, Катя, я давно серьезно, много хотел сказать вам.

— Ну, вот, Сережа, как это обыкновенно. Расскажите лучше о счастьи человечества. Это ваше любимое и мое...

— Тогда останемся вот так, как сейчас, всегда неразлучно вместе, уедем, убежим...

— Вы—еще гимназист, куда?

— Чорт его знает, куда-нибудь...

— Какая вам чепуха в голову лезет.

Сережа не расслышал приговора и горячими красными губами потянулся к Кате. Он прилепил к ее губам поцелуй, словно печать красным раскаленным сургучом. Катя отпрянула испуганно. Сереже казалось, что у него с губ капает живая кровь. Катя бросилась к крыльцу. Сережа ринулся к ней. Не успел он вскочить на первую ступень, как Катя захлопнула дверь. Тонкие пальцы Сережи безнадежно скользили по вырезным узорам тяжелой деревянной двери, хватались за медную ручку, за косяки. Колени его подкосились. Коленопреклоненный он поцеловал каменные ступеньки крыльца не потому, что она прошла по ним, а чтобы охладить горячие губы.

В это время над его головой ее голос:

— Иди, Сережа, я не стою этого. Но завтра приходи опять, завтра я хочу тебя видеть.

Сережа поднял голову и, не различая ее лица в темноте, ответил в небо:

— Нет, не приду, потому что, может быть, на-днях наверное погибну.

Почему-то подкинул вверх фуражку и невеселыми неверными шагами направился по улице. Оглянулся. Кажется, что Катя все еще смотрела ему вслед.

Ночь была ароматная. Сережа не хвалился перед Катей, когда говорил, что наверное погибнет. Ему и вправду предстояло опасное дело.

ГЛАВА II

ОРЛЕНОК

Раз-два, раз-два... Мерно, гулко, глухо... Тюремный надзиратель Шулыга коротал ночь, шагал вдоль коридора, от стены до стены. Он не знал, как много в стенах заключено сил, но понимал, что тюрьма—каменная запруда человеческой поступи все вперед, все выше. Надзиратель всегда перед собой видел стены, под собой асфальтовый пол. Черный мундир надзирателя Шулыги вычищен будто бы его жесткими усами. Шулыга даже говорит вполголоса. Редко он раздражается. Но если это происходит, тогда он весь наливается кровью и хрипом кричит. Жутко становится.

Раз, два, раз, два...

С военной службы получил выправку, привык шагать ровно, четко.

Пол в коридоре не может трещать, своды—тоже, они каменные. А что же это как будто что-то потрескивает? Может быть темные тюремные углы таят в себе преступную жизнь, пошевеливаются? Уж не шепчется ли кто? Этого быть не может в одиночном корпусе. Или это в нижнем этаже, где общие камеры? Но этого тоже после восьми часов вечера не полагается. А может быть это из тюремной конторы доносится шипенье стенных часов? Или легкий храп дежурного? Слышится будто: „аллах, аллах, аллах“, словно татары шопотом совершают свой намаз...

— Шулыга, Шулыга, Шулыга...

Двадцать камер у Шулыги в коридоре, от двадцати камер ключи у него на железном кольце. Двадцать железных ключей от двадцати живых человеческих душ...

Нет, это не „аллах, аллах, аллах“, а ясно: „Шулыга, Шульга, Шульга...“

Кто же это стонет шопотом? Или ветер в трубе выговаривает его имя? Зачем он ветру?

Кто-то в коридоре вдувает часовому его имя в ухо. У каждой камеры железная дверь, в каждой—крепкий замок. Над каждым замком в двери есть маленькая дырочка „глазок“, прозурка, закрытая стеклянным кружочком. Он вращается на шпеньке, его можно повернуть—и дырочка откроется. Но сделать это может только часовой. Арестованному трудно пальцем, хотя не невозможно...

Сидящий в камере не знает, когда надзиратель открывает эту прозурку. Значит сидящий в камере должен считать, что на него в этот „глазок“ всегда смотрит чужое око.

Борясь с жутью, с шопотами, с какими-то по углам шевеленьями, надзиратель запел то, что он пел каждый день:

— Спаси, господи, люди твоя,—и позевнул так, что зубы лязгнули, как у собаки.

А в коридоре упрямо и ясно шепталось: Шулыга, Шулыга, Шулыга...

Часовой храбро пошел по рядам дверей, прикладываясь на мгновенье к каждой прозурке ухом бдящего стража.

Из одной прозурки в его ухо дунуло влажным теплом. Часовой отодвинул круглое стеклышко. В прозурке—красные губы, как пятачок свиньи. Губы шептали мольбу:

— Шулыга, Шулыга...

Шулыга грубо ткнул грязным пальцем в мягкие красные губы. Губы отпрянули.

— Что тебе надо, бандит?—спросил Шулыга. Бандитами Шулыга называл тех, кому симпатизировал.

— Шулыга,—заговорил арестованный,’не знаешь ли ты, как черную кровь избыть?

— Тяготит?

— Не мало.

— Меня тоже,—просто сознался Шулыга. Эх вы, ученые, студенты. Науки превзошли, а как победить черную кровь—не разработали...

— Она не относится к науке.

— Какая?

— Дурак,—шепнули губы.

Шулыга отошел от дверей и запел:

— Спаси, господи, люди твоя...

Остановился, задумался о себе: четыре сына и две дочери, шесть, да жена, да сам, да через три-четыре месяца еще ребенок—итого всего десять. А в месяц восемнадцать рублей. И такие неустроенные беспокойные мысли пошли ему в голову, что он опять запел молитву. Но скоро оборвал и направился к той камере, откуда его назвали дураком.

— Слышь, ты, ученый...

— Что, Шулыга?

— А какой рецепт существует против детей?

— Охолощение.

— Ну коли так, значит и ты умник, на котором шапки шьют.

И отошел с гордостью и тихим песнопением. С нижнего этажа послышались кошачьи шаги старшего. Он бродил по ночам от бессоницы, проверял часовых. Когда старший появился на коридоре Шулыги, тот привычно отрапортовал ему, что арестованных столько-то и никаких происшествий не случилось.

Старший козырнул, отвернулся и по-кошачьи тихо пошел на следующий этаж.

Опять послышался бархатный шопот:

— Шулыга, Шулыга...

Часовой досадливо:

— Спи, давно полагается спать.

— А ежели я не могу?

— Тоже спи.

— Да я просто не в силах.
— Тогда в карцер.
— Шулыга, а ты видел царя?
— Видал, дважды.
— Какой он?
— Известно какой: русый, гладкий...
— А умный?
— Сей минут ложись спать.
— Погоди, добрый человек, я хочу у тебя совета спросить.
— Ложись без никаких советов.
— Не могу: я все о царе сокрушаюсь. Я, понимаешь ли, хочу на его имя написать всеподданнейшее прошение, чтобы простил раба своего. Разумеется, это надо делать потихоньку от своих...
— Сдаешься, значит, ослаб?
— Я разочаровался в идеях.
— Зря, зря ты это сделал. Я тебе скажу: без вашего брата тоже никак нельзя. Ежели вас не станет, наша специальность будет дешевая. Это уж так спокон веков заведено: ваше дело—дело делать, наше дело—имать вас. Ваша специальность тоже очень нужная, без нее никакое государство не может стоять. Но не подумай, что я тебя отговариваю, пиши ему, пиши, он простит...
— Больно у меня бумага-то негодная, для прошения-то. Царю ведь, сам знаешь, надо писать на особливой бумаге, которая потом, когда царь прочтет, ни на что ему по своей жесткости не пригодится, а моя бумага мягкая, не для...
— Ну, ну ладно, ложись спать...
— Шулыга, сделай милость, скажи там в конторе начальникам твоим, да только потихоньку от всех, что 326-я камера просит гербовой, особливой бумаги. У меня духу не хватает, мне это... совестно..
— А по каким таким?..
— Ты хочешь спросить: причинам?

— Ну...

— Скажи: по причине черной крови.

— Если ты валяешь со мной дурака, я сейчас стрелять по тебе стану.

— Ну, постреляй, постреляй, а я скажу на суде, что ты препятствовал мне обратиться на высочайшее имя. Отказываешь в гербовой бумаге, в то время как другим таскаешь газеты и передаешь записочки. Нехорошо это, господин начальник.

— Не комедьянь, я надзиратель.

— Нет—начальник: ты все время начальствуешь над коридором, над всеми нами.

— Начальник тюрьмы Паршинский.

— А я его считаю надзирателем, потому что он только надзиратель, проверяет... Нет, Шулыга, ты настоящий начальник тюрьмы, ты.

Шулыга был многотерпелив, болтлив и добродушен, но тут не выдержал: наставил револьвер в прозурку.

— Этого хочешь?

— Хочу.

— Ложись, перестань разоряться. Понимаешь, что тебе полагается спать.

— Эх, Шулыга, хороший ты парень, ведь только с тобой и поговорить изо всей тюрьмы, а ты сдуру тычешь во всех револьвером. Слушай, хочешь, я напишу тебе рецепт против детей?

— Вре?.. Ей-богу?

— Даю слово.

— Пиши сейчас.

— Опусти твой дурацкий револьвер и открой дверь, а потом этой тяжелой дверью...

— Ложись,—стоном надорвался надзиратель, как разъяренный зверь.

— Шулыга, не ори. Я дикую крысу приручил и выдрессировал так, что могу на тебя выпустить—загрызет.

Шулыга срывка закрыл стеклянным кружком прозурку, выругался по-русски и, отходя, запел так тихо, так навозный жук.

„Богородица дева, радуйся...

Если бы набожный надзиратель не пел молитвы, а вслушивался бы в ночные звуки,—они так же с трудом и только хорошим ухом уловимы, как едва различимы глазом очертания в кромешной темноте,—то от него не ускользнул бы совсем тихий стук, горошком побежавший по стене от той камеры около которой говорил Шулыга, к другой, расположенной рядом.

Выстукивалось:

— Мент[1] отошел. Работайте осторожнее. Буду стараться еще раз отвлечь его на себя. Работайте только в те моменты, когда часовой разговаривает со мной. Я наблюдаю за ментом и слышу его каждый вздох. Его местонахождение мне совершенно ясно. Когда он будет далеко, я стукну вам, и тогда опять продолжайте работу.

Соседняя камера стуком отвечала:

— Раздобудьте как можно скорей гербовой бумаги. Печать почти готова. Гербовая бумага нужна срочно.

Первая камера опять отстучала:

— Уже работаю в этом направлении. Думаю, достану через мента. Сам не буду обращаться.

Надзиратель гулко стукал каблуками до утра. За этим его стуком внимательно следил жилец 326-й камеры. А его сосед Вареха осторожно, осмотрительно долбил гвоздем каблук резиновой галоши. Он делал из нее хорошую печать казенного образца с текстом: „Губернское жандармское управление“.

Вареха был аферист. Его специальность—подделка официальных бумаг. Когда-то он был чиновником при одном генерал-губернаторе и сделал себе чек на крупную сумму. А на суде обнаружилось, что он сам себя снабдил дипломом

[1] Мент — по-тюремному надзиратель.

об окончании университета и выдал себе свидетельство на звание доктора прав.

Уж которую ночь Вареха с величайшей осторожностью вырезывал гвоздем на резиновом каблуке правильные печатные буквы. Работать приходилось даже под одеялом, будто спит. Вареха держался напряженно, только на локтях, и манипулировал лишь кистями своих рук. Работа подходила к концу: еще две-три таких же упорных ночи—и печать будет готова. Она будет поставлена на хорошей, может быть гербовой бумаге. На бумаге официальным писарским почерком рукою Варехи будет написан приказ жандармского управления перевести политического арестанта Алексея Репьева срочно в другой город, где будто бы за Репьевым открылось новое, еще более важное государственное преступление. А к соответственному времени, то есть ровно ко дню прибытия Репьева в другую тюрьму, туда поступит бумага, изготовленная тем же Варехой, якобы от следователя по особо важным делам с предложением освободить Репьева „за отсутствием состава преступления“. Так будет осуществлен побег Алексея Репьева из тюрьмы.

Только когда стало светать, Вареха прекратил работу. Уткнулся взлохмаченной головой в подушку, но от волнения, от неимоверного труда—заснуть уже не мог. Сердце стучало. Удары его отдавались даже в железную кровать. Но провести такой побег для Варехи то же самое, что победить в спортивном состязании.

Сосед Варехи Алексей Репьев тоже до высших пределов утомил свои нервы наблюдением за часовым и попытками затянуть его в сети своих разговоров, чтобы дать Варехе возможность спокойно работать, не боясь, что надзиратель посмотрит в глазок.

Веки Репьева не могли сомкнуться. Края их саднило, словно они были утыканы тончайшими иголками. Он вытянулся на железной арестантской кровати и представил себе радость удачного и красивого побега.

ГЛАВА III

ДОМ И ДОМИК

Когда Сережа подошел вплотную к дубовой парадной двери незнакомого ему богатого дома, он только тут понял, что гимназическая одежонка на нем потрепанная, не подходящая к этому дому. Рука его нажала кнопку звонка, отступать было поздно, да в сущности и не-зачем: если в этом доме живут, как ему говорили о том, люди, сочувствующие революционному движению, то чего же их стесняться?— предрассудок.

Дверь открыла горничная с привлекательным лицом польки—блестящие глаза и капризные губки.

— Мадам у себя?—спросил Сережа, стараясь придать своему голосу такое выражение, будто бы привык делать светские визиты.

— Так, но господина нет...—не без хитрой улыбки ответила полька.

— Прекрасно,—ответил Сергей слишком громко и покраснел.

Горничная ловко стащила с его плеч шинельку и фуражку.

Сережа сделал несколько шагов вперед и остановился на пороге гостиной. Его поразила огромная картина Вандерфельда „Сводница". И сразу же его объял страх и неопределенное волнение. Он нерешительно сделал несколько шагов по ковру и встал около голубого мягкого кресла. Сереже поручено было переговорить об важной и деликатной материи: это было ему первое серьезное революционное поручение. Шевеля губами, он тихим шопотом повторял пароль, словно готовился к экзамену по тригонометрии.

Широко распахнулась дверь, и вместе с волною духов и запаха пудры в комнату вступила смелой, какой-то даже атаковой походкой молодая полная дама. Она была смугла, как индуска, неестественно смугла, Сережа рассмотрел на

лице ее густую краску. Она подала ему сразу обе руки, как старому знакомому, и руки эти были очаровательны настолько, что Сергей не посмел дотронуться до них. Она сама потрясла его за плечи, усаживая в кресло.

— Ну что ж вы пароль, пароль забыли...

У Сергея язык, как мокрый войлок, прилип к гортани. К тому же никак не мог Сергей понять, что такой даме нужно и можно выговорить пароль, священное, тайное слово. Дама рассмеялась, как ребенок, и стала не только что симпатичной, а даже как будто родной.

Сергей только было раскрыл рот, а она уже махнула на него рукой, коснувшись пальцами его коленки:

— Ну, все равно, я и так вам верю, у вас на лице написано, что вы заговорщик: к тому же мне вас описали, хотя совсем не верно, самого главного мне не сказали, что глаза ваши такие светлые, красивые. Не правда ли, ваша партийная кличка Захар?

— Гм, гм...

— И вы пришли у меня просить, вернее, получить деньги для какого-то там таинственного дела, организации побега, что ли.

Сережа рассмотрел свои руки и заметил, что его ногти не совсем тщательно выстрижены, в сравнении с ее, лучше бы было и не показывать их... Он засунул левую руку за пазуху, а правую в карман брюк и густо покраснел.

— Пойдемте ко мне,—скомандовала дама и быстро пошла в другую комнату, Сережа последовал за ней. Они очутились в ее маленькой красного цвета спаленке.

— Садитесь вот сюда,—она указала на искривленный предмет, похожий на широкое кресло с тонкими, тоже искривленными ножками, обитый красным шелком. В спаленке все было красное. Садясь, Сережа слишком крепко притиснулся к спинке диванчика. Спинка с треском отлетела.

— Ничего. Спинка была чуть приклеена. Не беспокойтесь, товарищ Захар, не поднимайте...

Сережа был сам весь под цвет красной спаленки.

Чтобы скорее миновать случившееся, дама достала из хрустальной шкатулки конверт и передала его Сереже.

— Извольте, медвежонок,—сказала она.

— Спасибо,—пробормотал Сережа.

— Ах вы, светлоглазый, разве за это благодарят,—и мягкой ладонью дотронулась ласково до его щеки. Сереже не понравилось обращение, как с ребенком, он выпрямился:

— Это лишнее.

— Наоборот, самое главное, и ваш социализм имеет целью создать на земле любовь более прекрасную и ласку более утонченную, чем это есть сегодня.

Сережа не помнил, как он прошел гостиную, как в окна врывались лучи яркого солнца, как смотрела на него горничная с польским лицом, как он натянул на себя шинель, как захлопнул за собой добротную массивную дверь и как очутился на улице. Он пылал взбунтовавшейся в нем кровью. Он уже не знал теперь, чего он хочет и куда ему надо итти. Увидал в руке конверт и сунул его за пазуху. Остановился. Привел свои мысли в порядок. Деньги надлежало передать по адресу... по адресу... а по какому? Заволновался Сережа, забыл ведь адрес-то. Что ж теперь делать? Страшно! Того, кто дал ему адрес, Сережа больше не увидит, а записывать адреса в конспиративной работе не полагается. Как же быть? Спросить не у кого, никто не поможет, а между тем побег Алексея Репьева подготовлен. Завтра он переводится в тюрьму другого города (Сережа не знал деталей плана побега, но знал схему его) и одновременно следом за ним должны поехать с деньгами люди.

Сережа тяжело дышал. И свое дыхание, так же, как всего себя, он в этот момент жестоко ненавидел. Как смел он забыть, расслюнявиться? Революционер! Дрожали его холодные руки, тряслись колени. Значит он будет виною тому, что сложно подготовленный, гениально задуманный

побег Алексея Репьева не удастся. Сергей пошел лбом вперед без направления.

На каком-то перекрестке улиц посмотрели ему в глаза большие уличные часы, отмечающие торопливый и хлопотливый бег горожан к смерти. Стрелки, как раскосые глаза, показали Сергею, что осталось ровно пять минут до того, как он должен был вручить деньги. Сережа сжал кулаки, опять начал мучительно пытаться восстановить в памяти номер дома. Пять минут протекли. Истекли и еще десять, а адрес не всплывал на поверхности взбаламученной памяти. Что ж делать? Словно он оборвался в пропасть. Дрожа всем телом, Сергей направился на урок к Коле, Катиному брату. Все кончено. Он проведет урок, потом Катя... Нет, нет ей нельзя открывать такие тайны. Нет, после урока он пойдет снова к той даме... Нет, тоже нет, нельзя... Да ведь этак его легко могут счесть за провокатора... Угнетая себя всякими страшными предположениями, Сережа добрался до знакомого ему дома генерала Свинцицкого.

В прихожей Сережа заметил, что ни пальто ни шляпы Кати не было.

Ее значит нет. К лучшему это. В такой неудачливый момент никого не видеть бы, а в особенности ее. Ведь если бы даже и рассказать ей все—она не поймет. Она знает, что Сережа пишет лирические стихи, произносит горячие речи о каком-то новом счастьи, но что Сережа уже практически вошел в революционное действие—этого Катя не знает и не может вероятно даже представить себе. Ах, революционное действие! Как, однако, оно мизерно кончилось. Откуда пришло это несчастие? Еще мгновение, еще мгновение и оно раздавит Сережу.

Он машинально вошел в грязненькую комнату Коли, второклассника. Хилый, лопоухий, неухоженный—Коля не знал вовсе матери. Ленивый мальчик ждал своего репетитора, подперев щеки кулаками и бессмысленно глядя в книгу. Читал:

— Перед ковчегом стоял семисвешник, семисвешник имел семь свечей, семисвешник имел...

Из комнаты, где сидел мальчик, дверь была открыта в другую комнату, откуда доносился грустный с присвистом храп генерала.

Сережа, как во сне, сел на свое обычное учительское место, забыл даже поздороваться.

— А зачем им нужен был семисвешник?—лениво спросил Коля.

— Чорт их знает,—ответил Сережа.—Решай сначала задачу по арифметике. Вслушивайся: Папа подарил Коле пять яблок по две копейки. Мама купила Коле на рубаху ситца три аршина по шесть копеек. Сколько стоили все подарки вместе.

Страшный конверт с деньгами, нужными на большое и отважное дело, давил грудь Сереже, жег сердце...

— Чтобы это узнать,—монотонно лепил мальчик слово на слово,—надо сложить.

— Что с чем?

— Яблоки с ситцем, пять к трем.

— Правильно... О, нет, постой. Как ты будешь яблоки с ситцем складывать—это нелепица.

— Как не лепится,—возразил мальчик,—а я вот сейчас сложу и прилепится.

Сережа не рассердился и не рассмеялся. Он стал безразлично и скучно объяснять. Коля помножил пять на два, потом три на шесть. Сложил результат. Получилось двадцать восемь копеек.

Сергей вдруг рванулся с кресла и бросился к двери. Оглядываясь как оглашенный, он громко говорил на бегу Коле:

— Ты прости меня, мой маленький друг. Ты плоховато уроки знаешь, повтори старое. Я нездорово себя чувствую, у меня в голове что-то... Простуда наверное. Давай руку до завтра. Эх, рука-то у тебя вся в чернилах, мазила ты, мазила. Нехорошо пятерней писать, как кошка. Прощай

Двадцать восемь черточка шесть, двадцать восемь черточка шесть, двадцать восемь...

Коля подумал, что репетитор его сошел с ума, и сломя голову пустился рассказывать обо всем в кухне.

Сергей горошком скатился с лестницы и столкнулся внизу с Катей.

— Здравствуйте, двадцать восемь тире... я бегу, простите.

— Постойте, минуточку... Я должна вам что-то очень важное...

Сергей ринулся было ниже. Катя, ступенькой выше, держала крепко его руку в своих двух. Сергей взглянул на ее ноги и в уме его поспешно отметилось: ноги у Кати прелестные, даже лучше, чем у той, у дамы. Куда же Сергею, такому неуклюжему, владеть такой красотой! Лучше бежать.

— Катя, не могу.

— Коли так—прощайте.

„Ну что ж и прощайте,—подумал Сергей:—во имя дела все можно втоптать в ничто, во имя великого мятежа. Он волнует сильнее".

— Двадцать восемь тире шесть, прощайте.

— Алексей Репьев,—крикнула ему во след Катя.

Сергей шарахнулся назад.

— Откуда вам известно это имя?

— Он арестован. Его приятели ищут девушку, которая под видом невесты могла бы ходить к нему на свидания и передать ему...

Сергей схватил ее за руку:

— Разве вы в организации?

— Я—нет, а вы—да. Но вы с самого начала нашего знакомства решили конспирировать передо мной. Вы думаете, я принадлежу к низшей расе, я не пойму ваши идеи, я недостойна?

— Остановитесь: вы просто из другого класса.

— Так же, как и вы, и так же, как и вы, хотела бы силы

свои отдать революции. Я дала свое согласие быть невестой Репьева.

— Фиктивной?

— Если хотите... Я должна передать ему письмо о чем-то важном, но мне его не дали, что-то еще там не готово. Сказали—может быть, завтра...

— Ага, вот как, прекрасно. Тем более прощайте. Катя, значит вы наш товарищ?

— Вы друг Репьева?

— Мы почти на улице, нас могут подслушать. Это имя хорошо известно шпионам. А вы его знаете?

— О да. Мне хотелось бы о нем с вами поговорить.

— Ну что и... Ждите меня завтра. А сейчас—всего...

— До скорого.

— Имейте только в виду, что я лично Репьева не знаю, поэтому рад буду от вас услышать о нем. Прощайте.

Сережа понесся, как на парусах.

На окраине города он подошел к низенькому маленькому домику на суглинистом пригорке. Осенью во время дождей было бы не докарабкаться. На углу стены дома стояло 28—6.

У двери Сережа дернул за проволоку звонка. Сначала засипела ржавая проволока, потом взвизгнул, как больной ребенок, колокольчик. Прошло не мало времени, пока услышал Сергей, как кто-то шарит скрюченными пальцами по двери изнутри, должно быть, в темноте ищет большой крючок, которым заперта дверь. Слышно было, как крюк сняли, визгнуло железо. Кто-то изнутри долго толкал дверь вперед, и, наконец, хрустнув, она открылась внезапно. Если бы Сережа во-время не отпрянул, то она ударила бы его по щеке.

Перед Сергеем в дверях стояла старуха, седая как лунь.

Сергей сразу пароль:

— Не принимаете белье в починку?

— Принимаем,—коротко сказала старушка и жестом пригласила Сережу войти.

Пока старушка возилась, запирая дверь, Сережа стоял в темных сенях. Потом он почувствовал старушечьи руки за своей спиной. Они толкнули его в глубину темноты и далее в тесную, тускло освещенную комнату. Там, за круглым столом под бумажным абажуром керосиновой лампы, сидел человек с русой бородой в черной рубахе. Он тотчас же встал навстречу Сереже во весь огромный рост. Здороваясь с ним, Сергей заметил на стене портрет Михайловского, Энгельса, Толстого и снимок картины Репина: „Какой простор“.

— Вам белье нужно к среде?—сказал высокий человек дополнительный пароль.

— Нет, к пятнице.—Сережа старательно выговорил заученный условный ответ.

Старуха после этого куда-то тихо убралась.

— Вы опоздали,—сказал высокий сухо.

— Да.

— Минут десять тому назад ушел товарищ, которому нужно было передать это. Чем вызвано опоздание. Шпики?

В такой тесной комнатке, такой замкнуто строгий тон.

— Я забыл номер дома.

— Ну это еще полбеды. Давайте.

Сергей готов был за такое снисхождение расцеловать старшего и наверное очень известного товарища. Конверт с деньгами счастливо перешел в руки белобородого.

Ворот косоворотки был слишком широк ему. Кроме того он то и дело поддергивал рукава рубахи, они были длиннее чем надо. Часто во время разговора белобородый забрасывал за уши пряди тоже очень длинных волос. Покашливал немного хрипло,—все это делало белобородого похожим на попа. Сергею показалось, что даже пахнет как будто ладаном в этой келье и затхлостью греховно-праведной, и перекисшей монастырской капустой. Сергей заметил на стуле фуражку с бархатным околышем, какие носят только студенты духовной академии, будущие попы,

Когда Сережа уходил, в темных сенях старушка на прощание похлопала его по плечу и—пророчески:

— Теоретик будешь ты, теоретик... Плохой из тебя практик...

— Я бы хотел сочетать то и другое.

— Это все так начинают, пока не изведают свои силы. Погоди еще... Народ подскажет, кем тебе быть...

„Кем бы ни быть,—подумал Сергей,—да только бы быть“,—и радостный, с песнями направился к лесу.

ГЛАВА IV

ГЕРОЙ

Алексея Репьева сокращенно звали Лель. Он был красив, умен и начитан. Обладал огромной физической силой. Был всегда счастлив от того, что ему все удавалось и на плечах его не лежало никаких обязательных забот. Он был единственным сыном богатого и именитого в купечестве старообрядца, владевшего баржами и пароходами по рекам Волге и Каме. Его баюкали любовью и лаской. Сердце его, выкормленное матерью, трепетало нежностью при одном звуке ее голоса. С отцом Лель был дружен и испытывал наслаждение от бесед с ним.

Отец Репьев со старообрядческим упорством, сам того не замечая, своими нападками на официальную церковь выращивал в сыне великие силы мятежа и протеста, а мать, отогревая его на груди своей, делала тонким и восприимчивым.

Дом Репьевых был тихий. Не сотрясал никто тишины ни ругательным словом, ни пьяным горлопьянством, ни безмерным гоготаньем, ни истерическим русским весельем, ни навязчивыми и бестолковыми спорами о сути бытия до хрипоты в горле. Боярская почтительность, велеречивость царствовали в обращениях между членами семьи и многими родственниками, часто гостившими у них. Репьевы были вежливы и с народом, служившим им: с бонной англи-

чанкой, с бонной немкой, с экономкой, с поваром, горничными, судомойкой, с двумя кучерами, с дворником и со старичком, должность которого никому не была известна. Говорили, что это тайный старообрядческий духовник. Дом был на редкость крепкий и осмысленно чистый.

Под домом в подвале, ключ от которого хранился у самого Дениса Ивановича Репьева, была тайная молельня, богато убранная иконами и украшенная парчей. Алексей бывал там и хранил это в строгой тайне. Хорошая практика к будущей конспирации.

Когда Алексей случайно ступил на грань революционной работы, то скрыл это от отца, но не от матери. Словно тайная молельня поместилась в душе Леля, куда он спускался по ночам и читал запретные евангелия от Маркса, Энгельса, от Лаврова. Правда, что эти книги Лель читал не как начетчик веры, а как человек интеллектуальной культуры, которому чтение нужно так же, как силачу гири, а ребенку игрушки для постоянного совершенствования. Лель наслаждался от постижения нового. Он радовался, когда выпивал со страниц толстых книг неведомые ему раньше широкие идеи. Он внутренно созерцал открывающиеся ему новые миры, как слушают симфонию. Сверкание мысли, ее переливы и блестки пленяли его, как некоторых восхищают огни самоцветных камней. Размах и смелость человеческой мысли вызывали в нем великую страсть к творчеству нового.

В университете Лель слушал лекции по философии профессора, который был плохим оратором. Он неуклюже выходил на кафедру, потом, через минуту, словно испугавшись ее, сбегал. Отходил к окну. То наклонялся низко, как близорукий, над чьим-нибудь пюпитром, то становился задом к аудитории, то в профиль, облокачиваясь на черную доску. Подолгу сморкался, даже закуривал. Снова всходил на кафедру, складывал свои ненужные руки на профессорском пюпитре, опять сходил, шлялся по аудитории. Будто

бы он искал выхода. Сырым неторопливым голосом излагал историю философии так, будто бы все время сам собеседовал с мыслителями ушедших веков. Он возражал им, у него свои были выводы и домыслы, он старался убедить Сократа, что ему, Сократу, сделать бы еще только один шаг и он создал бы теорию непротивления злу. Но голосом профессора Сократ сам убеждал профессора в том, что гораздо страшнее родиться, чем умереть, и что уж если родились, то нелогично, следовательно бессмысленно бояться смерти. Во время своего скитания по аудитории, исканий носовых платков по карманам, смотрения в окно и на студентов, как в пространство, профессор успевал своими беседами с древними философами так возбудить мозги своих слушателей, что часто студенты сами подавали профессору реплики к выводам из излагаемых им положений. Иногда в аудитории возникали вопросы, волнующие слушателей, вопросы, требующие разрешения, как ссадина требует пластыря, они влекли мысль к чему-то, казалось бы, непреодолимому, к тупику. И вдруг он, профессор, скупой на слово и не очень декламаторски выразительный, поднимал эти недоуменные вопросы и экономными словами, но точными, как вымытый минерал, давал ответ, опрокидывал темноту, застилавшую свет мысли, словно молнией пронизывал темные углы, разил незнание, напластовавшееся тысячелетиями в человеческом мозгу. Для Алексея это были минуты особенного познавательного восторга.

А профессор продолжал кочевать по аудитории и в гармонии своей неровной походки раскачивался и ронял вопросы одновременно ко всем слушателям, замолкал на минуту, напрягал мозг молодых слушателей и опять поднимал упавший вопрос и оборачивал слушателям ответной стороной. Спрятанные за стеклышками очков глаза профессора загорались огнем, и вся сутулая фигура учителя мысли, складки костюма, морщина ботинок—все покрывалось едва уловимыми глазом блестками познавательной энергии. Это

походило на легкую пыль, которой обсыпан воин, смело идущий в атаку, чтобы пробить человечеству дорогу вперед против каменных глыб невежества и темноты.

Глядя на высокий чистый лоб профессора, Алексей думал: вот он, человек, человек настоящий, на форпостах человеческого движения. Алексею казалось, что такие люди должны носить в душе своей огромную отвагу. Их дело сильнее, могучее, отчаяннее, чем все походы Юлия Цезаря. Алексею в такие минуты казалось, что он и вся аудитория вместе с профессором представляют корабль и куда-то движутся все вместе, в синие дали того, что еще скрыто от рук и глаз человека.

От таких моментов получил Алексей большую любовь к уединению с книгой. Он старался оберечь свою мысль от чужих неосторожных прикосновений. Поэтому по-настоящему говорил с большой неохотой, а шутя—сколько угодно. Избегал споров с товарищами и густо краснел, когда обстоятельства вынуждали его показывать свою истинную мысль. Ему было не по себе обнажать свое, интимное.

При всем его стремлении к познавательной деятельности и наслаждению мыслью, его не видели корпящим над книгой или записывающим хлопотливо лекции, или боящимся экзаменов. Алексей даже не особенно усердно посещал лекции. Но в успешности был одним из первых. Будто из воздуха вынюхивал знания. На экзаменах он излагал предмет так по-своему, как может только человек, в совершенстве владеющий тем, о чем говорит. С товарищами он был весел и дружен. Но всякий чуял в его отношениях к себе неизменно легкий холодок и едва уловимую иронию.

И выпить любил Алексей. Порою он мог влить в себя несметное количество водки, коньяку, чего угодно, но почти не пьянел. Наоборот: трезвел от действительной жизни. Слова его становились яснее, мысли последовательнее, мысли—колкие, страшные своей нечеловеческой определенностью.

И поухаживать за собой любил Алексей. Руки его были безукоризненной чистоты, до неприятности, всегда чисто выбрит, раздушен, причесан, свеж. Манеры его были элегантны. Он мужественно перенес немало влюбленностей в него. Его баловали поцелуями, голубили руками, обливали слезами, объяснялись, требовали, восторгались. Алексей был мягок во внешнем обращении, но оставался непреклонным. Он тогда еще не знал цены такому спокойствию. Хотя от соседства с женщиной ему всегда было весело и тепло, он становился красноречив, часто слушал себя, как постороннего интересного собеседника. Но он боялся говорить с женщинами о серьезном. Ему всегда хотелось поддерживать с ними водевиль, несмотря на то, что многие окружавшие его женщины хотели превратить водевиль в трагедию. Трагедий он боялся пуще всего, ибо в них он никогда не чувствовал солнца, бессмысленной и здоровой радости жизни.

Алексей глубоко никого не любил за исключением одной женщины: своей матери, которая была ему другом. Романы Тургенева Алексей ненавидел так же, как презирал музыку Чайковского. Лирические стихи даже Пушкина он декламировал в издевательской форме, как изречения Козьмы Пруткова.

Но Алексей был реален: он не презирал пламенные муки своего молодого тела. Он знал женщин, которые не требовали от него трагедий и объяснений в любви.

Очутившись в одиночной камере, Алексей испытал прилив горячего любопытства к открывшейся перед ним новой странице его жизни. В тюрьме не было ни изнурительно, ни ужасно. Алексей установил как-то нечаянно хорошие отношения с надзирателем Шулыгой. Его пугал он своей огромной физической силой. Шулыга соглашался, что Лель может гнуть подковы, но просил его не выламывать решоток на окнах. В длинные часы скучного тюремного досуга занялся Алексей изучением Гегеля.

Уголовный арестант Ванька Нос, разносивший по камерам чай и обед—разбитной малый лет восемнадцати, белобрысый и веснусчатый—как-то второпях прошептал Алексею:

— Товарищ, нет ли у тебя, слышь, бумаги?

— Вам какой?

— Само собой—белой-писательской... Я роман пишу.

— Вот как, роман? О чем же это?

— Роман, по карманной части. Погоди, слышь, ужотко покажу.

Через несколько дней в прозурку к Алексею в камеру влетело несколько листов мелко исписанной карандашом бумаги. На заглавном листке стояло: „Неизвестная Графиня Маргаритка перед странным молодым человеком на коленях. Роман в стихах с подлогом и взломом дамкратом. Глава первая—напрасные слезы Маркиза и как их утирала изменница Маргаритка, и так и далее".

Алексей истинно забавлялся чтением. От чтения у Алексея с Ванькой Носом завязалась тесная дружба.

Тот же Ванька Нос однажды разочарованным голосом сказал ему:

— К вам пришла невеста. Неужели вы любите этот пол?

Алексей улыбнулся и успел ответить Носу, что никакой невесты быть не может, у Алексея нет невест.

Однако следом за Носом в камере показался Шулыга и рявкнул:

— Собирась на свиданку...

Алексей пожал плечами и отправился в „свидальную" камеру. Там, за решоткой, находившейся на расстоянии шага от решотки, за которой стоял Алексей, он рассмотрел беспокойное лицо Кати Свинцицкой. Из полумрака раздался ее грудной контральто:

— Здравствуйте... Вам привет от Сергея и ботинки,— Катя говорила торопливо и торопливо же бегала глазами, словно Алексей был весь обвешан чем-то замечательным.

— Вы не сердитесь на мою записку... Я писал ее, знаете ли, в состоянии...

— Какая записка? Я ничего не получала,—как можно выразительнее солгала Катя.

— Как же так?

— Скажите лучше, что передать вашим, а то ведь свиданье-то на десять минут. Регарде ла семелль[1],—добавила украдкой по-французски. Это-то и было самое главное, почему Катя согласилась пойти на свиданье: в подошву ботинок был заделан подробный план организуемого для Алексея побега.

— Молчааааать,—дико завыл жандарм, услыхав непонятные ему слова.—По-немецки запрещено говорить...—жандарм подбежал к решотке и начал махать перед лицом рассмеявшейся Кати руками, будто отгонял от нее мух. Жандарм находился между решотками, из которых за одной находилась она, за другой Алексей.

Алексея вдруг подхватил порыв буйного веселья, какой посещает только людей сильных и абсолютно здоровых. Он продел между решотками свои пальцы и стал выворачивать железные прутья, как застарелый зуб. Дрогнул пол. С потолка посыпалась штукатурка. Лицо Алексея перекосилось от усилий и налилось кровью, скулы сжались. Мускулы всего тела напряглись. Толстый продольный прут решотки с визгом выскочил из поперечной полосы. Быстрым движением сильных рук Алексей налег на поперечную полосу и вогнул ее вниз, а затем болтающийся прут подогнул вверх. В решотке образовалась дыра. Жандарм дал тревожный свисток и навел на Алексея револьвер, по дулу которого спокойно полз таракан, должно быть гулявший до этого в штанах жандарма. Поэтому револьвер выглядел комично и не пугал. Алексей просунул в образовавшуюся в решотке дыру ногу. Другую ногу он никак не мог освободить. Стоя

---

1 Смотрите подошвы.

одной ногой между решотками, он успел протянуть руку Кате и всунуть ей в ладонь записку. Перепуганный жандарм открыл стрельбу в потолок. Из боковой двери вбежали конвойные солдаты. Они набросились на Алексея, но тот ссыпал их с себя, как горсть орехов. Дула винтовок и острия штыков направились на него. Алексей видел фигуру Кати, которую уводили в контору тюрьмы. Алексея увели в карцер.

Карцер—это абсолютно темный сырой и тесный каменный подвал. На земляном полу было сыро. По углам воды по щиколотку. Хлюпая ногами по грязи, Алексей знакомился ощупью с расположением стен и углов его нового—неизвестно на сколько—жилища.

Через некоторое время в двери карцера открылся маленький четырехугольник. В мутном зеленоватом свете Алексей рассмотрел краюху черного хлеба. За краюхой в то же отверстие была просунута жестяная кружка с холодной водой. Когда Алексей принял хлеб и воду, отверстие захлопнулось, и опять наступила тьма, как в гробу. Подавание хлеба и воды повторялись через некоторые определенные промежутки, и по ним Алексей отмечал в своем уме: утро, полдень, вечер. Исходя из этого расчета, ложился на землю, где казалось ему посуше.

Отсчитав три таких подачи, Алексей понял, что впотьмах скончался второй и третий день. Алексей спал не регулярно, а лишь тогда, когда обессиливал. Тогда в его глазах зажигались яркие разноцветные огни. Ему казалось, что он оборвался с земли и полетел лицом навстречу ослепительным и бушующим протуберанцам солнца. Вот-вот он приближается к извечному огню, красные, лиловые, ультрафиолетовые лучи уже охватывают Алексея, накаляют его. От огня его глаза готовы лопнуть. Они не могут закрыться от яркости и бешенства крутящихся огненных шаров и вихрей. И в огромное раскаленное солнце па-

дал Алексей стремглав и ощущал себя всего, как горящий факел.

Только после сорок пятой подачи хлеба дверь карцера отворилась, и Алексей, ударившись лицом в свет, упал на пороге своего карцера.

Тюремный врач определил, что Алексей в сильном жару и подлежит отправке в больницу тюрьмы.

ГЛАВА V

ТОЛПА

В вестибюле университета происходил митинг. Тут были студенты, слесаря, столяры, сапожники, портные, типографы, техники, трамвайные служащие, приказчики и даже несколько извозчиков. Было тепло, жарко и приятно душно, по-братски. Если бы не громкие речи ораторов, разговоры и выкрики, не покашливания и шуршания ног, то было бы слышно, как слишком две тысячи человеческих сердец бьются в такт. Биение стольких согласных сердец—это мотор внутреннего сгорания, влекущий вперед, в неизвестность. А для каждого в отдельности сердце казалось бомбой, готовой к взрыву.

На верхней площадке широкой лестницы, на большом выступе одной колонны была устроена трибуна. На ней стоял смуглый студент в черной рубахе, в очках, с прямыми назад откинутыми волосами. Рукава его рубахи были засучены, словно он готовился к кулачному бою. Он, как председатель, предоставил слово какому-то гладкому и чистому студенту с длинным тонким носом, перехваченным темно-синим пенснэ. Оратор тщательно вращал свой вежливый лик во все стороны, может быть даже раскланивался бы, если бы не теснота подножия колонны, служившей трибуной. Оратор чеканил красивые слова, показывал всем белые зубы и свежие губы. Он говорил, что демократическая республика—идеал, и, как всякий идеал, не может быть на

практике достигнута никогда. Конкретные формы государства, к которым может привести освободительное движение в России—это наиболее демократическая конституция. Оратор взывал к благоразумию интеллигенции. Неизвестно, когда кончил бы свою речь галантный конституционалист, если бы не разразившаяся, неожиданно для него, буря протестующих голосов:

— Вон, долой, защитник буржуазии, лакей Дурново. А, Трепов, Трепов,—„патронов не жалей“!

Грузин, стоявший у самой трибуны, в ярости хлестал по ногам оратора своей черной папахой, словно сгонял наседавших оводов с крупа лошади.

Студент презрительно покачал головой и, брезгливо ступая ногами, сошел с трибуны под неистовый свист и редкие аплодисменты.

На трибуну вошел извозчик. В своем толстом со сборками сзади кучерском ватном одеянии он походил на старинного московского боярина, восставшего из пыли веков. Выправив неторопливым величественным жестом длинную бороду из-за ворота кафтана, погладил ее правой рукой, откашлялся, сложил обе руки—в одной была шапка—на животе,—извозчик начал что-то говорить из „священного писания“. Сначала легкий смешок, а потом и несдерживаемый хохот пошел по рядам слушателей. Извозчик, однако, не сробел. Он мощным сапогом своим, с заплатой на носке, шагнул поближе к толпе, чуть было не свалился с трибуны и продолжал доказывать:

— Кто первый сказал:—Если имеешь пиджак,—отдай нищему? Кто первый про мытаря говорил? Вот он-то и есть первый революционер, первый социалист. И мы должны поэтому поторопиться и, хотя бы до второго пришествия его на землю, постараться очистить ее, ну, хоть бы скажем, нашу русскую, православную землю, очистить от гадов и злодей-драконов, как, например, стражники, пристава, а наипаче того от помещиков, кои корень всякого человеческого вреда.

И самый наибольший среди них злодей—это Николай Болванов. Торопиться с этим надо, а то, неровен час, начнется второе пришествие. Он спросит:—что мы, трудящиеся, сделали? А мы что скажем? Вот, значит, стойте за ту партию, которая раньше всех других свернет врагу голову. Урррррр-аааааа...—неожиданно вдруг закончил извозчик свою речь и в экстазе бросил свою шапку в толпу. Извозчику аплодировали бешено.

Катя Свинцицкая, стоявшая тут же с подругой своей Женей, отбила все ладоши.

Следом за извозчиком поднялся на трибуну низенький большеголовый человек, без признаков какой бы то ни было профессии. Он начал яростно говорить против студента в пенснэ, призывавшего к конституции. В речи этого большеголового оратора, как заметила Катя, часто попадались слова „марксист“, „марксисты“. Этими не понятными Кате словами оратор называл не только студента в пенснэ, но и председателя в очках. Последнему доставалось от большеголового едва ли не горше, чем первому, в пенснэ. Большеголовому часто и много аплодировали студенты с восторженными, вспотевшими лицами. Горячий оратор распалил аудиторию до невозможности, а закончил так:

— Нечего тут долго раздумывать и спорить. Наша партия бросает лозунг совершенно ясный: „всякий честный человек запасайся маузерами, браунингами, бомбами и кинжалами“.

Звуки последних слов оратора утонули в бешеных аплодисментах. Оратор сошел с трибуны, держа высоко над головой свою студенческую фуражку и вертя ею приветственно и победоносно.

Особенно неистово аплодировал ему тот грузин, который бил по ногам папахой конституционного оратора. Этому-то грузину и было предоставлено слово, сейчас же после большеголового.

Бледный, как бумага, с глазами, горящими, как два алмаза, грузин вскарабкался на трибуну прямо с того места, где

стоял (с другой стороны трибуны были подставлены две табуретки в качестве лестницы), но он презрел постепенное восхождение. Все видели, как белолицый грузин долго стоял на трибуне, не произнося ни слова, зверски сжимая кулаки. Зрачки его глаз, блестящие и черные, остановились в лихорадочном оцепенении на какой-то одной точке. Он не смотрел ни на кого и вместе с тем на всех, а больше всего на видимого только им бога, которому грузин может быть молился за всех биением своего пламенного сердца. И от той бессловесной молитвы все, что хотел сказать грузин, сгорело в его молодом сердце и обратилось в пепел. Он вдруг взметнул вверх и три раза перевернул в воздухе свою папаху, словно разметал ею пепел от сгоревших в сердце слов, и затем отчаянно шлепнул ее к своим ногам. Скрипнул белыми, крепкими зубами, словно конь закусил удила. Проговорил все-таки:

— Товарищи, все говорил, все говорил этот конституционный барин. Зачем говорил, почему чушь говорил... А я скажу, сичас только скажу... Эххххх.

Тут голос оратора будто споткнулся или его поразил внезапный паралич, или захлебнулся он жаждой злой иронии и мести, но только оратор, сжав кулаки, проделал ими в воздухе разнообразные, молниеносные, угрожающие жесты, полные пыла и готовности драться. Слова, сознав свою невыразительность и ничтожность перед такими жестами, потухли и застряли на языке. Лучше, сильнее, доказательнее своих жестов грузин ничего не мог дать и спрыгнуть с трибуны, убоявшись самого себя. Аудитория разразилась бешеными овациями бессловестному энтузиасту. Его подхватили и стали подбрасывать в воздух. Много раз над двухтысячной толпой вскидывалось и падало вниз бледное, как бумага, лицо грузина с алмазными глазами. Словно в центре толпы загорелось пламя белого каления, и язык этого пламени—лицо грузина—то зажигалось над толпой, то исчезало как от ветра среди поля калышащихся голов.

Катя и Женя пытались пробиться к бушующему центру, где мелькало лицо грузина, но не было никакой возможности их тонкими руками растолкать потные горячие спины впереди и кругом тесно стоящих людей.

На трибуну поднялся худой, немного костлявый, но мускулистый человек в высоких охотничьих сапогах и, несмотря на летнее время, почему-то в меховой куртке (из шкуры теленка). Узкое лицо его, обрамленное прямоволосой острой у подбородка бородой и красивые острые глаза делали оратора похожим на средневекового рыцаря или кондотьера, или крестоносца. В его фигуре, в чуть приподнятом вверх правом плече чувствовалась сила. Он начал речь. Он не говорил, а исторгал слова, они были рваные и горячие, как оторванные куски сердца, которое он бросал голодной толпе. Слова его были о пролетариате, о капитале, о крестьянине, о помещике. Он широкими и цветистыми мазками сравнил положение угнетенного народа в России с положением трудящихся в Европе, перешел к описанию индустриальных рабочих Америки, к положению угнетенных народов Великой и Малой Азии, Ближнего и Дальнего Востока, говорил о тяжком рабском состоянии людей Африки.

Его слушали все до единого, с раскрытыми ушами, и глазами и ртами, со сжатыми кулаками, с затаенным дыханием, с дрожащими коленями.

Всякому, кто его слушал, казалось, что вот-вот сейчас раздадутся такие слова, что каждому и всем вместе надо будет смело и решительно двинуться вперед на врага и от этого движения разноцветная, разнолюдная, разнотрудная земля получит обратное вращение и реки потекут вспять и океаны станут от счастья зеркально спокойны, как горные озера. Всем казалось, что оратор стоит не на трибуне, а на недостроенной до конца Вавилонской башне и оттуда обозревает весь мир и слышит, как поскрипывает земля, вращаясь на своей перегретой оси. И мир разноцветный и далекий, невиданный и незнаемый, после слов оратора всем

показался таким простым, трудовым, понятным, полным. Весь мир оказался вот тут на ладошке, в понятиях труда и ценности и от этого стал каждому родным, родным по труду. А те, другие, которые противостоят труду, те—далекие и близкие, которые пожирают труд—эксплоататоры Африки, американские людодавы, азиатские нагаечники, европейские хищники во фраках и русские государи и сударн в деревнях и городах, у копей и шахт, у рудников и нефтяных фонтанов,—все они от сердечнейших слов оратора показались не людской породой, а некоей накипью, мраком, застилающим путь, которые и властью стали от своей удушливой мрачности. Они уже не нечто равное, с чем предстоит бороться, а нечто внешнее, что надо устранить с дороги, как бревно или камень, или лесную чащу, которую следует вырубить, чтобы пройти вперед.

Оратору с тонким лицом устроили грандиозную овацию. Но в этой овации не было того безумства, истерики, искривленного наслаждения, угара, как в овациях прежних. Тут в хлопках и криках „ура“ было что-то от умственной сосредоточенности, от постижения, от мысли, захлебнувшейся полнотой и жизненным весом того, что успел оратор от своей души пересадить, как весенние ростки, в душу слушателей.

Еще не откатились, не замолкли волны великого восторга, как председатель заговорил о малом, близком к конкретному. От имени комитета своей партии он предлагал собранию немедленно выбрать делегатов и направить их к губернатору с требованием освободить всех арестованных. Он прочел список фамилий товарищей, сидящих в тюрьме. На первом месте стояла фамилия Алексея Репьева. Катя вздрогнула от гордости за то, что об Алексее будут говорить, от радости, что его освободят, что этого требует сам народ.

Из толпы стали выкрикивать имена и фамилии и клички нелегальных делегатов. Так были выбраны и тот оратор,

который воскликнул—„пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ и большеголовый, который употреблял непонятное слово „марксист“, и тот, что вместо слов произвел непонятные жесты, и тот, конституционный, который до того ясно говорил, что его никто не понял, и даже сам председатель собрания. Почти все ораторы были выбраны. Все кроме извозчика.

— А ты, что же, кособрюхий, в делегаты не идешь?—спросил извозчика его сосед, столяр с черной повязкой на левом глазу (стружка видно залетела).

— Главное, сынок,—ответил извозчик,—бить, а не говорить. Я говорить не умею...

— Да, а вон давеча сколько набрехал и писание приплел.

— Не говори, я и сам не рад сделался, до того это сказать захотелось, что чуть матюгом не пустил. Да вижу перед собою народу много и женщины есть. А словечко-то так и рвется с языка. Вижу, что плохо дело. Ну, и пришлось в писание залезть. Оно всегда спасает.

— А все-таки нет лучше того, который про надбавочную цену-то говорил.

— Будто ты и понял?—усомнился столяру какой-то высокий сутулый и мрачный человек, который стоял сзади столяра.

Народ хлынул к выходу. Кто-то запел марсельезу. Это остановило народ. Каждый старался петь как можно громче, словно от пения, как от израильских труб, могли пасть иерихонские стены самодержавия. Катя не знала слов. Поэтому пела с пятого на десятое, но отчаянно выкрикивала: „Вставай, поднимайся, рабочий народ“. Это было просто и повторялось. По спине проходил тонкой струйкой холодок от отчаянности и отрады, что пение это мятежное, что оно направлено против всего того, чем скрепляется текущая наша жизнь, против вооруженной до зубов силы, против винтовок, против пулеметов, против патронов, которых несомненно жалеть не будут, против уклада сотен лет, против

царя, упрочившегося легендой о богоданности, вероятно и против генерала Свинцицкого. Сила, против которой поют, не сломлена и находится за стенами университета. Может быть, смотрит она в темные незанавешанные окна, черным кольцом окружает, может быть, горстку смельчаков, собравшихся здесь, подкарауливает у выхода, готовится рубить мечом. Кошка тоже не сразу перегрызает горло мышонку, и паук не тотчас, как поймает, давит муху. Может быть, даже в этой толпе энтузиастов и смельчаков вкраплены чьи-то холеные, внимательные глаза, которые все видят, замечают, закалывают имена и лица острой опытной внимательностью на блок-нот своей изощренной шпионской памяти. Сила огромная, блестящая погонами, многовековая. Она гнала мороз по коже. Но мороз пробегал быстро, мимолетно, и все попрежнему оставалось радостным и чарующим.

Едва отгремели последние всплески голосов, едва чьи-то запоздавшие голоса в отдаленном углу отхрипели, восторженным криком рассеянно и нестройно довершив припев: „Вперед, вперед, вперед",—как горячий грузин взмахнул опять папахой и совсем сиплым голосом, но с силой так, что вздувались на шее жилы, затянул: „Вихри враждебные веют над нами".

Его вызов подхватили сотни голосов, и „варшавянка" сотрясла толстые колонны университетского вестибюля. Не расходились как из храма, где не кончено еще жертвоприношение.

Двинулись опять к выходу только тогда, когда пение подходило к концу и голоса опять разбрелись. Теснясь в широких дверях, Катя увидела Сережу притиснутым к белой колонне. Его так жали, что он не мог ни пошевельнуться, ни сделать жеста. Он здоровался с Катей восторженными глазами и приглашал улыбкой подождать его, чтобы итти вместе. Сережа пытался даже что-то кричать, но из-за гама, пения, выкриков, разговоров Катя ничего не могла расслышать, и ее кивающая Сереже голова уплывала от

него все дальше и дальше среди моря других голов и плеч, как щепка среди волн широкого дождевого потока, несущегося в море, в океан.

Когда Сережа сам, наконец, тоже был подхвачен этим потоком и выдавлен вместе с ним на двор университета, то по крикам, по движениям, по остановившемуся течению людей, по отчаянному наседанию прибывающих сзади Сергей понял, что там впереди у ворот что-то случилось. Крики становились тише, движения нерешительнее и беспокойнее. Энтузиазм стал заметно вытесняться чувством животного страха, который искрами засветился во многих глазах. И вот совершенно отчетливо полукриком, полустоном, полушопотом пронеслось от соседа к соседу, мимо ушей Сергея, пугающее слово: „Казаки, казаки, казаки". Какая-то шельма присела и прошептала: „Мы в ловушке". Кто-то там впереди, у самых ворот отчаянно крикнул: „Товарищи, вперед!" И все, как ветки деревьев от ветра, метнулись назад. Но сзади был каменный университетский забор, да стена корпуса. Отступить было некуда. Опять остановились. Ничего не было видно. Тьма кромешная, хоть бы луна была на небе. Кто-то запротестовал: „Во дворе храма науки и ни одного фонаря".—„Это педеля потушили",—ответил тот, который присел от страха.—„Бьют, что ли?—спросил чей-то меланхолический голос. Кто-то над самым ухом Сергея: „Да куда ты плюхаешь с галошами, марксист-теоретик?" В ответ на это теоретик кого-то обругал: „Глупый дурак!" У ворот кто-то бойко скомандовал: „К камням, товарищи, к камням!". В тот же миг послышалось цоканье многих лошадиных копыт на мостовой против ворот университета. Лошади, очевидно, хотели вскочить во двор, в толпу. Цоканье усилилось. Раздалось раскатом: „Урраааа!" и одновременно с ним отчаянные крики и стоны тех, кого ударили по спинам, по голове, по груди, по рукам, по лицу казацкие нагайки. Задние ряды поняли, что у ворот произошло первое соприкосно-

вение с врагом, первая проба сил. Катя не успела решить, что ей делать, как очутилась взятой под-руку с одной стороны студентом-ветеринаром, с другой—кем-то рыжим, кудрявым, без шапки и очень мускулистым. Подруга ее Евгения была куда-то оттерта. Оглянувшись вправо, влево, Катя увидела, что вся толпа уплотнилась, сжалась, выстроилась правильными рядами и в рядах люди сцепились под руки, каждый держал соседа. Образовался спутанный узел, комок. Живая человечья крепость против нагаек, лошадиных морд, жандармских ног и не обнаженных еще казацких шашек. Цоканье подков, хлопанье ременных нагаек, стоны, крики „ура", призывы храбрых, неустанный напор толпы, потому что ей и оставалось только пробиваться вперед ценой избиения ее авангарда, ее передовых и, может быть, невольных храбрецов. В воздухе тучей, не видимой в темноте, взвились камни, палки, зонты, галоши, сырые яйца, чернильницы, гвозди, поленья. Вихрь этих снарядов сопровождался раскатами „ура", угрожающими, победными и низвергался на головы врагов и их коней. Враги на конях тогда пятились, отступали, сбивались в кучу, но все еще оставались в воротах непрорванным фронтом. В критические моменты схватки конные враги поворачивали к лицам нападающих лошадиные крупы и пытались наступать „задним ходом". Лошадиные хвосты, копыта, сдобренные нагаечным посвистыванием, врезались в гущу человеческих лиц, разгоряченных борьбой.

Люди смело наступали на лошадиные крупы, на хвосты, на копыта, на нагайки. Жандармы и казаки опять поворачивали лошадей мордами в народ. Кусая поводья, раздергивая железкой пенистые рты свои, сопя раздутыми черными ноздрями, вскосмаченные, с выпяченными грудьми, поджимая передние ноги, как в галопе, лошади снова врезались в бунтующую толпу. Кентавры борются с людьми.

Настал момент, когда люди оказались сильнее кентавров. С криками: „долой самодержавие!" люди, топча своих же слабых, упавших от нагаек, от копыт, от тесноты, от

шального камня, от страха,—бросились вперед против плетей и лошадей. Сомкнутыми рядами двинулись в узкие ворота, сотрясая воздух камнями, палками, стеклами и даже карандашами и опять этим всегдашним сильным „ура".

Дрогнули кентавры. Заскрежетали их копыта по камням мостовой. Сыпались искры из-под копыт. Растерялись всадники. Пробив себе грудью дорогу в ворота, народ хлынул туда и немедленно начал растекаться в обе стороны, по улицам, словно пенистое пиво, вылившееся струями из откупоренной бутылки.

Топот ног по камням, гиканье, когда сомкнуты были ряды, сломили кентавров. А теперь, когда первые цепи нападающих разбежались по улице, ряды стали разлезаться, как поношенная одежда по швам. Каждый старался скользнуть в ворота, очищенные от лошадей, всякий старался бежать, кто куда мог, лишь бы спасти самого себя. Послышались крики:

— Ребята, спасайся!

— Не держитесь мне за рукав!

— Под руки, товарищи, под руки, сомкнуто!

— Подите вы к чорту!

— Да отпустите мою руку!

— Трусы, не комкайте демонстрации!

Притиснутые к противоположному ряду домов, оробевшие было кентавры, завидев рассыпавшуюся толпу, заслышав растерянные и дикие крики самоспасателей, немедленно снова бросились в потоки убегающих. Послышались еще более дикие крики: „Спасите, бьют!" Но спасение ни откуда не могло притти. А в воздухе свист нагаек, гиканье вошедших в раж и преисполнившихся местью всадников. Началось жаркое ременное стеганье по лицам, по плечам, по животам. Кто-то из кентавров, услаждаясь победой, крякал, как мясник, разрубающий коровью тушу.

Всадники то тут, то там настигали убегавших, жали их к заборам, к стенам домов, к запертым воротам и били

их и топтали лошадиными ногами и пинали тупыми носками своих толстоподметных сапог. Один отряд всадников ворвался во двор университета, где еще оставались не успевшие убежать. Горстки храбрых пытались сплотить оставшихся опять в одну массу. Опять хотели подхватить сосед соседа, опять думали криками „ура“, камнями и палками и кулаками опрокинуть кентавров. Но кентавры молниеносной стремительностью разбили цепи. Один и другой и третий всадники заскочили в самую середину толпы. Вращая во все стороны разъяренную лошадь, всадники действовали нагайками направо и налево, нещадно били окружающих. Сергей смутно видел, как в отдалении, но в один ряд с ним бежит Катя Свинцицкая к каменному забору двора. С ней еще несколько человек. За ними казак в заломленной на затылке шапке. Вот-вот на сутулившейся спине Кати он сейчас очертит крест ременной плетью. Сергею броситься бы к ней, но он у самого себя за плечами слышит сопение догоняющей его казачьей лошади. Его самого сейчас наверное по затылку. Если плеть придется по тому месту, где у человека мозжечок, то может наступить моментальная смерть. Скосив глаза в ту сторону, где бежала Катя, он увидел в свете тусклого фонаря, как она споткнулась и упала вниз лицом. Заметил еще, как она простерла вперед свои тонкие руки. Казачья лошадь бешено затопталась около упавшей. Сергей бросился к Кате. Казак отскочил от нее и вихрем понесся за теми, кто темными тенями срывались с каменного забора и разбегались. Сергей разглядел, как кто-то с блестящими пуговицами, повидимому гимназист, висел на стене и тщетно старался перебросить свою ногу через забор. Но пола его длинного плаща зацепилась за какой-то гвоздь в стене. Он сильно дергал ногой, чтоб хоть разорвать полу. Тем временм подскочивший казак отбивал крепкие удары по его трясущейся и вздрагивающей спине. Это продолжалось, пока гимназист не обессилел и не упал к ногам лошади. Казак бросил его и устремился к

маленькому человеку в широкополой шляпе. Человек этот спокойно стоял у стены и ждал ударов, потому что бежать уже было некуда, а стену из-за его малого роста все равно не перепрыгнуть. Человек закрыл лицо руками и под потоком нагаечных ударов плавно осел на землю словно в холодную ванну. Верхом на заборе появился тот оратор, который говорил об угнетенных разных стран. Он зычным голосом крикнул: „Долой самодержавие и его сатрапов!" и выпрыгнул на улицу. Все это видел Сергей в те краткие мгновения, пока добежал до Кати и пока удар чего-то холодного и шершавого, но гибкого, как змея, не сбил его самого на булыжник. Сергея вытянула нагайка по самой шее. „Не по мозжечку ли?"—мелькнула мысль—и тут же—„А не все ли равно?" Руками он закрывал бока и спину, потому что удары сыпались градом. Когда хлеставший отскочил от Сергея, он услышал вдруг рядом с собой голос:

— Нехай в канаве, нехай под шомполами, а жизнь—всегда счастье. О це моя хвилософия!

Сергей протянул руку туда, откуда слышалась эта отрадная философия. Руку Сергея приняла чья-то другая, горячая, вся в мозолях.

— Бежим,—шепнул Сергей.

— Погоди, товарищ, у меня только одна нога, дай найду клюжку. Куда-то ее вышибло.

— Я помогу тебе,—сказал Сергей, шаря по пыльным булыжникам.—А ты кто?

— Его величество пролетарий, Абрам Золотенко.

ГЛАВА VI

ПИСЬМО

Записка Леля, переданная им через Катю, оказалась адресованной матери Репьева и счастливо дошла до адресата.

Поздно вечером при свете ночника мать А. Репьева рас-

правила тонкую папиросную бумагу и с трудом разбирала мелкие буквы, сделанные милым, родным почерком, читала:

„Мама, для чего мы живем на нашей планете—ни я не знаю, ни ты,—никто. Однако и я, и ты и все, кто хоть немного мыслит, убеждены, что знают. Так твоя цель—я знаю—это мое счастье. Моя цель—погубить все безобразное и утвердить все красивое, добро другим людям; я думаю, этого можно достичь посредством революции, которая сама по себе есть прекрасное. Безумство—это смелость одного. Смелость многих, хотя бы и меньшинства—это революция. Безумство общественное или личное всегда—риск жизни. Всегда можно пасть смертью храбрых. Но подумай, мама, что лучше: прожить мирно, то есть жить теперь во имя того, чтоб потом начать гнить телом и в результате не пасть, а врасти в могилу, или светить светом красоты и сгорать молодым, красивым на глазах всех. Светить можно только сгорая. Мама, ты знаешь, какой мне грозит приговор: может быть, каторга. А я ни капельки не боюсь, потому что беспрерывно мыслю. В особенности с тех пор, как ты достала мне в утешение поразительного мыслителя—Гегеля. Да, кстати, знаешь еще какая новость проявилась недавно? У меня открылся, по-моему, недурной баритон. Я как-то вечером запел: „Крики чайки белоснежной, запах моря и сосны“—и сам удивился. Чуть в карцер не угодил. Теперь не пою, потому что не хочу карцера. По правде, если знать карцер, он, ей-богу, страшнее самой ужасной смертной казни.

Но ты, мама, всегда будь спокойна. Я тоже спокоен, оттого, что постоянная мысль о тебе нежит меня и укачивает. Тебе—вся моя правда. Вот почему я не могу не написать тебе, не предупредить тебя о том, какое наказание меня ждет. Но, мама, во всяком деле

бывают счастливые случаи. Тут тоже может подвернуться такой. Вот, например, говорят, что все прогрессивное общество и в особенности наши революционные товарищи добиваются полной амнистии для всех политических. А тогда, может быть, и меня захватит. Во всяком деле есть надежды, как во всякой земле хоть какие-нибудь цветы да вырастают.

Обнимаю и крепко тебя целую. Когда приедешь ко мне на свидание, не поминай про это письмо: оно передано потихоньку.

Обнимаю и крепко, крепко целую тебя и прошу, чтоб ты от меня поцеловала моего отца: мысли о нем, как горький уксус, сосут мое сердце. Если вы оба лишитесь меня, помните, что я погиб в борьбе с тьмой, человеконенавистью и издевательством одного человека над другим, проще—с врагом всего, что есть прекрасного в человеке. Мама, ты мне дала свое сердце, отец—ум свой. Значит я—вы оба, значит ум отца моего и твое, мама, сердце, облекшиеся в мое тело, вступили в борьбу за человеческую красоту. Может быть, поэтому от моей каторги вам будет больнее, чем мне. Но укрепитесь. Страх и уныние есть величайшие враги человека.

Целую тебя, мама, и отца.

Сын Алексей“.

ГЛАВА VII

ЧИНЫ

Генерал Свинцицкий был на приеме у губернатора. В узенькую и темноватую гостиную, где пахло пылью от шкафов с бумагами, вошел с наклоненной немного набок головою чиновник и, отведя генерала в сторону, извиняющимся тоном рассказал ему, что, хотя аудиенция у губер-

натора генералу была обещана, но вследствие одного очень важного обстоятельства губернатор лишен возможности принять кого бы то ни было. Это важное обстоятельство чиновник особых поручений считает абсолютно секретным, но, будучи расположенным к генералу, он все-таки может ему сообщить, чтобы и сам генерал мог судить насколько веским является это обстоятельство.

— Пришла, извольте ли видеть,—у чиновника всегда звучало „извольте видеть“,—конституция. Да, да, ваше превосходительство, это такой манифест, которым его императорскому величеству благоугодно было ограничить свою монаршую власть. Его превосходительство... буквально, извольте ли видеть, захворал от этого акта. С ним словно удар приключился. Главное, конституция-то ни из чего не вытекает, народ к ней не подготовлен. Все так было хорошо и спокойно и вдруг, извольте ли видеть, бац—конституция. А за что?

— Серьезно, ваше сиятельство?—переспросил генерал—чиновник особых поручений был барон.—А вы знаете, о чем я имел в виду ходатайствовать перед его превосходительством?

— Не знаю, но догадываюсь: о вашей дочери, извольте ли видеть.

— Совершенно справедливо. Митинг, на котором по несчастью была и моя дочь, был весьма многолюдным.

— Следовательно?—перебил чиновник, шагая рядом в ногу с генералом и глядя в пол.

— Следовательно не все спокойно.

— То, что вам, так сказать, обывателям, кажется беспорядками или общественным движением, то мы, бюрократы, рассматриваем, как легкую местную лихорадку, которая быстро проходит от незначительных накожных примочек.

Генералу стало неприятно.

— Вы ошибаетесь,—сказал он чиновнику.

Тот сделал каменное лицо и посмотрел на генерала пустыми глазами, как мертвец:

— Мы ошибаться не можем,—промолвил чиновник,—на нас, извольте ли видеть, светлые пуговицы (он небрежно провел рукой по своему жилету).—Мы десятки лет сидим в своих креслах и мы, извольте ли видеть, ошибаться не можем.

Генералу стало грустно до слез, будто ему сообщили о смерти близкого друга.

— В стране какое-то движение началось. Может быть, я уже стар и ничего не понимаю, но мне все говорят, что в университетском дворе били действительно живых людей, хватали живых людей, сажали в полицейские участки живых людей.

— Всякое общественное движение,—подбирая губы внутрь, говорил чиновник особых поручений,—есть вопрос полицейский, оно может быть большим или меньшим в зависимости от полицейской резины: ослабить ее—движение сильнее, натянуть—движение уменьшается. При идеальной полицейской системе—его вовсе не существует.

— Нет, существует по мере надобности.

— Игра с огнем?

— На этом пожаре вся жизнь, и всякий из нас целиком в этом. Прощайте, ваше сиятельство,—сказал генерал, особенно низко, особенно сухо кланяясь.

Чиновник особых поручений взял генеральскую руку в свои обе и задушевно так:

— Я вас вполне понимаю. Я сам отец. Вам сейчас не до этикета, извольте ли видеть. Я, чиновник особых поручений Харламов, говорю вам, что несмотря ни на что, ваша дочь сегодня будет освобождена—остальных мы задержим,—а ее, для вас, во имя нашего давнего знакомства, во имя ваших, генерал, заслуг, мы освободим мадемуазель Свинцицкую без всяких последствий.

Генерал что-то хотел сказать, колебался. Они стояли уже на лестнице—генерал ниже, чиновник выше.

— Как отец, как отец—благодарю вас сердечно.

Голос генерала был деревянным и срывающимся. Будто бы язык стал автономен и произносил явную бессмыслицу, но сладить с ним никак нельзя.

Чиновник особых поручений подошел к другим посетителям. Все встали: губы, руки, ноги и даже носы старались подобрать, уткнуть внутрь, чтоб быть как можно более уничтоженными. Глаза сделали просительными, смотрящими как-то снизу вверх, да и то немного вкось. Чиновник старался быть ласковым и на всякий случай любезным, помня о присланной конституции. Он по возможности мягким голосом объяснил в популярных выражениях, что его превосходительство до того себя дурно чувствует сегодня, что, к сожалению, принять не в состоянии. Особенно навязчивым посетителям он сообщал по секрету:

— У его превосходительства сильнейший мигрень.

Дольше всех не уходил один старичок—фельдшер. Он все кланялся почти в ноги и подавал советы, как бороться с мигренем. Он до такой степени был навязчив, что не хотел уходить, а чиновник до такой степени взял твердо курс на либеральничанье, что никак не мог покинуть приемной, пока последний посетитель не оставил ее. Поэтому чиновнику пришлось сказать:

— Да у его превосходительства вовсе не мигрень, успокойтесь, идите.

— ? ?—фельдшер сделал большие глаза.

— У него конституция.

— Фю-фью,—даже присвистнул фельдшер,—это уже явление мозговое.

— Да, да—уходите скорей.

У губернатора в кабинете происходило заседание. Чиновник, выпроводив последнего посетителя, вошел в кабинет в тот момент, когда высокий, с длинной черной бородой и в пенснэ адвокат произносил речь. Харламов стал за длинным, накрытым зеленым сукном столом, у которого

густо сидели чиновники и гласные, а за ними стояли тоже чиновники и какие-то люди.

Делая жест Цицерона тонкой волосатой рукой, чернобородый оратор говорил:

— Они,—он показывал на кого-то, стоявшего за стульями,—чуткий термометр общества, они лучшие силы страны, они строители нашего великого государства, они—наша совесть, они честны, бескорыстны, альтруистичны, чужды материализма, они—прекрасные дети лучших идей человечества. Они—святы. Как все святое, их идеи есть до некоторой степени заблуждение, но заблуждение, устремленное к прекрасному. Господа, всякая идея—заблуждение, ибо ни одна неспособна вполне быть осуществленной. Но от нас зависит, в какой мере сделать идею заблуждением. Если мы оттолкнем наше юношество, если мы не отдадим должного внимания его заблуждениям, то студент пойдет опять в народ, на этот раз в рабочий народ. Святое, выношенное в нежнейшем сердце своем, он доверит грязноруким, заставит их осуществлять свое святое, и те поведут и себя, и их, и нас в ад. Господа, не допускайте этого; интеллигенция—тонкий инструмент. И как всякий тончайший инструмент, он легко может зазубриться, испортиться. Он—гибок, он—капризен. И если мы, господа, не сумеем почерпнуть и в должное хорошее русло направить всю огромную силу нашей интеллигенции, тогда она споет нам бессмысленное, но красивое горьковское:

«Безумству храбрых поем мы славу,
Безумство храбрых — вот мудрость жизни...»

Бойтесь этого.

Хлопки жаркие, но реденькие раздались за стульями.

Губернатор сидя начал свою речь. Все обернулись в его сторону и увидели худенького маленького старичка, с редкой бородкой, превратившейся из седой в пепельную. Голова была почти вся лыса, только пепельные завитки виднелись у ушей. Он слегка покашливал, но речь его

была плавной. Всех пленяла такая выразительная постройка его фраз, что легко было отличить, где у него запятые, двоеточия, точки. Губернатор говорил добротным популярным языком, почти без иностранных слов, умело подчеркивая слова, в которых выражалась его главная мысль. Во время речи он держал одну руку на председательском звонке—другую, по привычке, за спиною. Покашливания и некоторые остановки среди речи доказывали, что плавность и правильность речи не от натуры оратора, не рождением данная, а воспитанная или созданная усилием воли. Хриплый слабый голос умело, отчетливо и просто делал нюансы в холодной рассудительной речи умного бюрократа.

Без торжественности, скупыми словами сообщил он о том, что царь подписал манифест об ограничении царской власти. В этом месте человек с длинной черной бородой, а за ним и многие другие стали аплодировать. Губернатор посмотрел в их сторону, как обиженный, и продолжал ровным голосом говорить дальше. Суть его „слова" сводилась к тому, что необходимо ждать дальнейших указаний на основе возвещенного манифеста. Что же касается требования студентов, поддержанного и обществом, об освобождении арестованных в университете, то губернатор сообщил, что он уже дал распоряжение об освобождении еще до того, как пришла к нему делегация студентов. В этом месте опять раздались аплодисменты, гораздо более сильные, но и на них губернатор не посмотрел благосклонно. Он воспользовался ими, чтобы прокашляться, или воспользовался кашлем, чтобы сделать вид не обращающего внимания на хлопки.

— Я думаю, что в эту минуту, когда мы здесь говорим, господа студенты и студентки уже покинули места заключения.

— Господин губернатор,—вдруг прервал плавную речь старичка тот оратор, который так пламенно говорил о мировой борьбе труда с капиталом,—мы делегаты от студентов,—оратор показал на своих соседей—пять, шесть че-

ловек,—вам не верим. Не верим тому, кто способен был избивать народ нагайками, не верим тому, кто в уезде расстреливал крестьян, не верим тому, кто в течение двадцати четырех часов держал манифест о конституции под сукном. Мы требуем, чтобы ордер на освобождение наших товарищей был дан нам на руки. Мы уйдем отсюда не иначе, как с ордером в руках. Скажу больше, перед этим собранием гласных и безгласных: мы, революционная демократическая молодежь России, не верим и манифесту нашего царя.

Поднялся шум. Чернобородый встал, изогнулся знаком вопроса по направлению говорившего и махал на него руками. Губернатор звонком, и жестами, и водянистыми глазами своими просил соблюдать тишину. На сером лице его, обрамленном пепельной бородкой, не было никакого выражения. Он делал движения, как кукла.

Чернобородый делал благородный и укоризненный жест оратору.

Шум стихал.

Губернатор—у него стала подергиваться левая щека—хотел было опять говорить, но пламенный оратор опять перебил его.

— Мы требуем от вас, гражданин губернатор, освобождения не только студентов и студенток, арестованных в университете, но и других наших товарищей, студента Репьева Алексея и вообще всех политических. И мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не получим от вас письменного распоряжения в тюрьму об их освобождении.

Лицо говорившего было розоватое, глаза горели, грудь высоко вздымалась. Он весь трепетал огнем, он был похож на летящего ангела в облаках грозы и бури.

Губернатор слушал его, искусственно вызвал зевок и перекрестил рот.

— Товарищ, товарищ,—прервал говорившего чернобородый,—вы предрешаете события,—с досадливым присвистом заговорил он,—образумьтесь.

— Прошу прощения,—мягким, едва слышным голосом сказал губернатор, обращаясь движением лица и жестом руки к чернобородому,—я еще ведь не кончил. Господин депутат от студентов, горячий конституционалист, сам нарушил маленькую конституцию нашей беседы. Я прошу у собрания любезного разрешения мне продолжать прерванную речь. Господа гласные, господа депутаты, не будем поддаваться ни панике, ни излишним восторгам. В то время, как мы здесь беседуем, я уверен, что все арестованные уже на воле. Правительство даровало амнистию, а я дал распоряжение привести это в исполнение. Этой вестью, радостной для всех нас, я и заканчиваю свое затянувшееся слово.

Оратор с черной бородой поднялся и пожал руку губернатору. Делегаты от студентов стояли несколько смущенные и разбитые в своих намерениях.

ГЛАВА VIII

МАССЫ

У Сережи была хорошая удобная кровать, но сегодня она казалась ему бороной, положенной под него вверх остриями. Это потому, что был зуд в побитых костях. В минуты страданий с детского возраста Сергей имел инстинкт укутывать себя во всемогущее терпение. Укрывшись за ним, как за несокрушимой гранью, Сергей мог свободно строить высокие замки воображаемой радости, небывалого счастья.

Но в этот раз не помогало воображение. Все время тихо, тихо, как кровь на поцарапанном месте, проступала в душе его жалость к самому себе, к своему ясно ощутимому телу. Оно начинало немного бунтовать, требовало своей обнаженной жизни. Он присматривался к своим рукам, щупал содранные колени, трогал виски. Знакомился и впервые сознательно твердил себе: вот это тело, мой живой инвентарь, я с этих пор и навсегда отдаю великому походу

угнетенных против угнетателей, великой острой борьбе за то, чего нет, но что ясно сживается со всем представлением жизни и мира.

Он не уважал нытья своего тела и беззвучного воя измученных костей. Он упал, но не сражен. Надо поднять голову, надо ринуться в бой снова. Его толкали к этому не одни рассуждения, воспитания, переживания и идеи, но и могучая потребность здоровой натуры, биологическая надобность борьбы, заложенная во всяком здоровом человеке.

Сергей поднялся с постели, выпрямил тело. Оно хрустело костьми. И тут смутно уловил Сергей вечный разлад между телом, которое легко побить, сломать, убить, и деятельностью всегда мятежного мозга—его не так-то легко помять.

Подкрепив низменную слабость своего тела яичницей и стаканом чая, Сергей, поцеловав мать, вышел в город, чтоб восстановить свои революционные связи.

Он направился к той даме, которая давала деньги на предполагавшийся побег Репьева.

Но едва Сергей подошел к так приятно волнующей его тяжелой дубовой парадной двери дома, как ему стало жутко. Словно кто-то назойливый приблизился к нему и стал шептать в ухо: „Подлинно ли ты сюда идешь только потому, что здесь надежный адрес. Не манит ли тебя сюда что-то другое, твое собственное, но не общее?“

Чтобы не теряться в колебаниях, Сергей быстрым движением нажал кнопку звонка.

Миловидная горничная с мягкой улыбкой заявила, что мадам дома. Сергей медлил проходить. Горничная сжалилась над его глазами и пояснила, что мадам ждет в гостиной.

Большая комната была залита ослепительным светом полдневного солнца. Перед большим трюмо, еще полуодетая, в нижней юбке и лифчике стояла дама и тщательно подводила губы. Она в зеркале увидела оробевшего Сергея, обернулась к нему, подошла, взяла его руки и положила

их себе на круглые бедра. Сергей хотел было попятиться назад, но вспомнил из читанных им приключений, что почти все они так именно и начинаются. Сергей улыбнулся и незаметно охнул. Вдруг она отбросила его руки и ласково, почти материнсн сказала: „Нахал". Он хотел что-то сказать, но она толкнула его бедром. Колыхнулась ее тяжелая грудь. Сергей от волнения захлебнулся воздухом.

— Застегните,—сказала она сырым голосом и показала на расстегнувшийся лиф.

Сергей послушно начал царапать ногтями по жестковатой материи лифа. Но пальцы его сорвались и попали в ее мягкую теплую грудь, как в пекло. Сергей сорвал с нее лиф. Пуговицы побежали по паркету. Дама прижала к себе Сергея толстой белой рукой. Они рухнули на ковер.

Сергей, отдал себя ей и едва потом вырвался из ее горячих объятий. Ушел, унеся в сердце петушиную радость и чувство неоконченного преступления, отчего все предметы казались покачнувшимися набекрень.

Куда же теперь итти?

Разве в тот домишко на окраине города, на суглинистом пригорке, где живет православный революционер? Нет: его-то уж наверняка отвезли в тюрьму. К домику не стоит итти.

А Катя Свинцицкая? В самом деле, как о ней он не вспомнил. Она ведь тоже была на демонстрации, может быть, тоже пострадала. Ведь надо же хоть бы просто навестить ее, проведать. Как же этого было не сообразить?

Сергей подброшенным мячом влетел в комнату Кати, старался почему-то не заметить ее лица. Сам не веря себе, схватил ее головку в объятия и поцеловал в губы так жарко, так необыкновенно, что Катя вздрогнула всем телом и оттолкнулась от него решительно.

Сергей взглянул ей в глаза и не узнал их. На него смотрела незнакомая женщина. Это уже не та Катя, которая гуляла в саду с собачкой.

Может быть, прочтя во всей его смутившейся фигуре недоумение, Катя холодно, товарищески, сказала:

— Вы знаете, Сергей, я тоже сидела в тюрьме.

— Ах!

— Ахать нечего. Там было весело, и там я многому научилась. Истинная школа революции.

И голос у нее какой-то слишком глухой.

Катя рассказывала тем временем про тюрьму. Никто из заключенных не верил, что так скоро будут на свободе. В особенности не верилось, что амнистия будет распространена и на таких, как Репьев, которым грозило серьезное наказание и которые сидели до известных студенческих демонстраций.

— Репьев, как его все зовут—Лель,—человек удивительный.

Катя дотронулась до плеча Сергея, чуть хрустнула пальчиками и сказала:

— Лель—настоящий, сильный...

Сережа попрощался и вышел.

Сергей, однако, не забывал основной задачи: восстановить революционные связи. Перебирая в памяти имена, клички и адреса товарищей, он вспомнил о своем новом знакомом рабочем Абраме, человеке на одной ноге. Он жил в бараках, построенных для рабочих близ завода.

Едва Сергей переступил порог одного, наугад, барака, как в темноватом широком коридоре различил ковыляющую фигуру Абрама. За ним шли еще несколько человек. Абрам неистово кричал:

— Товарищи, до сходки, сегодня вси до сходки ажь в семь часов в столовой.

Крича так, Абрам—грудь с грудью—налетел на Сергея.

— Опять митинги?—спросил Сергей, у которого становилось празднично на душе.

— Всенепременнейше, мой ангелочек,—Абрам всех звал уменьшительно-ласкательными именами.—Теперь дан лозунг: митинги, митинги и митинги.

— А спина зажила от нагаек?

— Посмела бы, стерва, не зажить, когда кругом и кипит и дымит.

Взяв Абрама под локоть, Сергей сообщил, что хотел бы войти в связь с организацией.

Абрам сообщил ему об амнистии, о том, что на свободе все политики и что теперь такое время, когда не столько важны кружки и комитеты, сколько движение самой массы, массы и массы.

— Приходи сегодня, как я объявил, в столовую, увидишь массы.

Странно: в словах, во всем поведении Абрама Сергей учуял что-то очень большое, почти нечеловеческое, божественное... или адское. Нечто подобное испытал Сергей в детстве, когда слышал разговоры больших о какой-то тогда неизвестной ему „желтой опасности". Говорили, что с Японией воевать не следовало, ибо вместе с японцами против Европы опрокинутся полчища миллионов китайцев—тогда-то и осуществится эта ужасная желтая опасность. У Абрама звучало что-то о красной опасности, опасности вечной, живой опасности для всего закостеневшего и гнилого. Сергей молод и счастлив, что он не в среде тех, кому опасность угрожает, а сам с угрожателями, сам субъект опасности. Когда говорил Абрам, то чувствовалось, что юлить или колебаться нельзя, что надо немедленно бросить всего себя и без остатка на ту или другую чашку весов.

Сергей бросил себя на сторону рабочей массы.

Вечер был гнилой, дождливый, с неба жиденько капал дождь, тучи плыли низко и тихо. Лист спадал с деревьев и, проколыхавшись в воздухе, неслышно заметался в мокрую, шуршащую под ногами листву. Не холодно было, а как-то зябко.

В такую пору Сергей всегда себя чувствовал деятельным

и сильным. Ясно работал его мозг, хотелось всю мудрость жизни постичь разом под запал.

В этот день из гимназии прислали отцу Сергея уведомление, что Сергей за участие в ученических стачках и революционном движении исключается из гимназии. Он был там в самом последнем классе. Теперь это неважно. Теперь все кроме революционного движения маленькое и нестоящее. По правде говоря, Сергей даже и забыл, что он гимназист, что отец из него хочет сделать видного архитектора и порядочного во всех отношениях мещанина.

Теперь—зачем все это? Борьба идет на подъем. Кстати, Сергей совсем, совсем свободен. Даже Кати нет. Катя теперь—одна сплошная мечта. Конечно, куда там Сергею искать еще личного счастья. По романам он знал, что часто личная неудача является своего рода составной частью героического.

Сергей подошел к большому заводу в тот момент, когда рабочие расходились с работы. Сергей видел, как какой-то высокий красивый человек, довольно чисто одетый, даже выхоленный, рыжий, вскочил на тумбочку и, подняв широким вольным размахом руку, крикнул:

— Стой, товарищи, остановись, поговорим о своих нуждах. В России, товарищи, началась всеобщая стачка. Остановились донецкие рудники, прекратились работы на уральских горных промыслах. Сейчас в телеграммах сообщается: „Встал завод Путилова в Петербурге“. Главные железнодорожные магистрали поражены стачкой, в Саратовской, Самарской, Тамбовской губерниях крестьяне жгут помещичьи усадьбы; товарищи, как завод должен решить...

Сергей вмешался в толпу. Речь высокого человека была краткой. Он закончил ее призывом итти в столовую завода на митинг и конечно провозгласить „долой самодержавие“.

— Да здравствует рабочий класс!

Это крикнул какой-то рабочий, черноусый, в клетчатой кепке. Ее он подбросил в воздух. Толпа закачалась и тро-

нулась к столовой, обратно, в заводские ворота. Догадливый сторож стал было запирать ворота, но черноусый схватил его за шиворот, другие—где попало, и сторож взлетел на воздух раз, другой, третий а на четвертый толпа расступилась, и он жестоко, боком шлепнулся о землю. Рабочие побежали, сторож остался стонать. Впрочем часть рабочих как-то бочком, украдкой старались отстать от бегущих по двору и шмыгнуть вон из ворот. Тот же черноусый заметил, крикнул:

— Шкурники, вали, вали, скорей уходи, не бойсь, не заплачем об вас.

Кто-то из бегущих в столовую бросил в трусов поленом, кто-то крикнул:

— Семенов, завтра в завод не являйся, шея будет сломана.

Где-то послышалась гармоника: марсельеза, но сейчас же кто-то ей заткнул горло.

В столовой было накурено, шумно, грязно. Длинные деревянные столы были сгружены в кучу, из них сделана трибуна. На ней возвышался солидный старый рабочий в очках с треснувшим левым стеклом. В руках он держал большой гвоздь и ударял им в медный поднос. Среди толп и групп черных сутулоспинных ковылял в разных направлениях Абрам. Его можно было видеть всюду. Он подошел к Сергею.

— Придется, брат, тебе выступить от имени комитета.

— Да как же так: я не комитетчик.

— Наплевать. Ты сойдешь. Настоящий не приехал. Или шпики помешали, или арестован.

— А тут я видел того, который с тумбочки говорил, хороший оратор.

— Его нельзя, его бережем. Его для другого, для боевой организации.

— Есть уж группа?

— А как же: раз к стачке готовимся. Стачка—предисловие боя. Не теряй времени, как тебя прозывать-то будем?

— Захар, Захар я.

Едва успел это сказать, как Абрам заковылял в сторону к трибуне. Председатель ожил, протер очки и сказал:

— Слово докладчику, товарищу Захару из центра.

Вот тебе и на: из какого же это Сергей центра?

Однако председатель и Абрам, и все стали смотреть в его сторону. Масса задвигала плечами и стала выпирать Сергея к трибуне.

Сергей вышел. Впервые прямо на него смотрели тысячи две глаз, шумели бородатые люди, виднелись любопытные подбородки работниц, выглядывавшие из-за мужских затылков. Раскрытые груди рабочих блестели, как наковальни, и казалось, взывали к оратору: „вдарь так, чтобы полетели искры, сделай из слова твоего железный молот“!

Не видя ничего, словно в пороховом дыму или в тумане, Сергей заговорил неожиданно для себя звонко, отчетливо. Слышал, как у самого горла билось птицей сердце. Знал, что сейчас он должен тряхнуть всем, что он накопил из чтения, из кружков, из наблюдений. Но как тряхнуть? Ведь перед ним не маменькины сынки, демократы в студенческих мундирах, которые только нисходят в сущности до революционного движения, считая это дело черным и менее удобным, чем обычная спокойная жизнь их среды. Перед ним стояли рабочие. Они выдвинули не теоретический вопрос: герои ведут историю или экономическая необходимость? Перед рабочими стоял вопрос, прекратить ли завтра работу завода и следовательно подвергнуть риску участь своей семьи, своих детей. Пуститься ли в путь или еще обождать, решиться ли уже или еще колебаниями отсрочить возможный голод стариков-отцов, старух-матерей, сыновей, дочерей и себя самого? Да, это совсем другой вопрос и по-другому стоит, чем все вместе взятые, так называемые „важные“ теоретические проблемы, обсуждаемые на студенческих кружках.

Расстегнутые загорелые груди были как открытые души. Но какую же правду? Про рабочую нужду? Но про это

слушатели знают своей спиной лучше, чем все ораторы. Про гнусность самодержавия? Но ведь это либерализм: все валить на самодержавие и забывать, что причина всех причин капитализм. Говорить о его механике, то есть прибавочной стоимости—единственном источнике эксплоатации? Это значило бы голодному, который требует хлеба, подать мороженое. Как же доказать, что данный завод должен встать в один ряд со всероссийской стачкой пролетариата? Пока в таком сомнении стоял Сергей на трибуне, что продолжалось несколько секунд, масса заволновалась, и закричали наиболее горячие:

— Да здравствует всеобщая забастовка! Долой царизм!

Это подхватил Сергей, этими самыми словами он начал. И дальше:

— Товарищи, знамена развернуты, сражение началось. Теперь кто отступит или не вступит в него—тот дезертир и изменник.

Масса крепила Сергея возгласами:

— Смерть предателям и трусам.

Чей-то робкий женский голос вскрикнул: „А сам-то энтот молодчик, видать, не из рабочих!“ Кто-то пробасил в ответ: „Молчи, ты так не обскажешь про нас, как он“.

Речь Сергея получилась зажигательной, полносочной, потому что она сама собой сложилась не в подчинении рассудительной книжной логике, а согласно напряженному движению масс, ее упованиям.

— Да здравствует первая в истории забастовка всего пролетариата огромнейшего в мире государства! Долой царизм, а за ним капитализм!

После Сергея выступал Абрам и обосновал необходимость создания боевой группы.

В углу затянули: „Вихри враждебные“. Наперекор всему какой-то жилистый маленький человек из кожи лез вон, надсадно крича:

— Завод окружен казаками.

Перепугавшегося никто не слушал. Только высокий рыжий интеллигент обратил на это внимание и, подойдя к Абраму, сказал:

— Вы слышите? Не распустить ли митинг? Надо успеть...

— Да что вы!—ответил Абрам.—На всяком собрании всегда есть заведующие паникой. Плюньте.

Выступали рабочие. Абрам взял Сергея под руку и пошел куда-то. Сначала они очутились в широком коридоре, а потом в кузне. На обширном грязном столе лежали револьверы, кинжалы, винтовки. Несколько рабочих отбирали себе что надо из этого оружия. У стола стоял высокий рыжий и помогал выбирать, подробно объясняя рабочим, желавшим получить оружие, как с ним обращаться. Увидя Сергея, рыжий подошел к нему, с поклоном светского человека представился:

— Я от боевого десятка. Вы будете с нами?

Сергею очень понравился этот крупный ростом, решительный, сильный товарищ с его свободными ясными манерами, полными привлекательности.

Жандармы и в самом деле окружили завод. Рабочие пошли на них атакой. В центре наиболее сильного сгущения рабочие поместили Сергея и высокого рыжего и сомкнутым кулаком двинулись против нагаек и обнаженных шашек.

— Урра!—ревели выносливые рабочие груди, открытые для пуль.

— Товарищи, не стреляйте в рабочих, мы не вам враги, а генералам и помещикам.

Где-то сзади в напирающих в ворота рядах слышался затерянный голос Абрама.

Жандармы били рабочих молча, сосредоточенно. Рабочие отбивались отчаянно.

Ценою, может быть, двух десятков тяжело побитых и упавших со стоном на тротуары рабочих вся остальная масса вылилась на улицы города и в темноте черным дегтем разлилась по переулкам; с нею спаслись и Сергей, и его

высокий товарищ, и Абрам, и черноусый, и многие другие. Выплеснув их своей горячей волной, рабочая масса обратилась в контратаку для спасения раненых и арестованных.

Когда Сергей и высокий его новый знакомец, держа друг друга за руки, пробирались по темным улицам на конспиративную квартиру, чтоб довести обо всем до сведения комитета и настаивать на немедленном вооруженном восстании, Сергей сказал:

— Конечно, комитет теперь в полном составе. Даже Репьев освобожден. Вы его знаете?

— Еще бы! Я именно сам Репьев и есть.

Сергей остановился, вынул свою руку из его, посмотрел в его глаза:

— Вы знаете Катю Свинцицкую?

— Она приходила ко мне на свидание в тюрьму. А вы Сергей Львович?

— Да.

— Молодой боевик,—Репьев обнял его за плечо. Сергей мягко, как бы не обидеть, отстранился.—Вы кажется влюблены в Катю?

— Вот еще.

— И хорошо делаете, не нужно: женщины ужасно не любят, когда их любят. Поверьте.

— Это вы серьезно?

— Вполне.

За это Репьев сразу понравился Сергею, с этого момента все в Репьеве казалось для Сергея интересным, значительным, красивым и дружеским. Они условились завтра встретиться снова.

Сергей возвратился домой и застал у себя полицейскую засаду. Он был в ту же ночь арестован и далеко сослан.

Массы рабочих поднялись на последний и решительный бой, а правительство ответило торопливыми арестами и ссылками.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

ЧУЖИЕ ДНИ

Ему стыдно было сознаться перед самим собой, что его захватывали и увлекали именно те страницы в романах Тургенева, Толстого, Достоевского, где описывалась любовь, интимнейшее движение души, нежность—этот аромат юности. Сергей не хотел себе в этом признаться. В беседах с приятелями и товарищами на эти деликатные темы он краснел, мялся и иногда от смущения плел невероятную чепуху, словно пьяный.

„Женского вопроса не существует!—делано горячо воскликцал он.—Как можно хоть один грамм мысли или одну секунду времени отдавать такому пустому вопросу, вместо того чтобы сосредоточить каждый миг мысли и дела на революции?"

Он утверждал:

„Кроме полового влечения ничего другого в природе не существует. Все остальное надумано пресыщенной и развратной буржуазией. Если бы какая-нибудь баба,—он никогда не говорил „женщина",—сказала мне, что любит меня, я бы просто оттолкнул ее за ложь".

Сергей повторял свою формулу:

„Собаки осуществляют свою любовь рациональнее нас",

В Сергее много было наивного, будто бы он только что проснулся от глубокого сна. Детским удивлением горели глаза перед миром и его загадками. Он старался казаться грубым, чтоб не показать своей старомодной сентиментальности.

Когда он вспомнил первое неудачное увлечение девушкой Катей, ему казалось, что теперь для него никогда не наступит ничего подобного, что настоящая, трепетная близость с любимой—это только несбыточная мечта. Можно, засыпая в своем углу, скрючившись, как собака, фантазировать нивесть о чем несбыточном. Только в мечте—и пожить...

Может быть, от этого Сергей не разделял радости своих товарищей, когда они болтали о свиданиях с гимназистками, о ногах горничных, о полноте дам.

Однажды Сергею на глаза попалась гравюра: монах, отвратив усталые глаза от книги, жадно уставился в пышный сад. Перед монахом широко раскрытая балконная дверь. Оттуда в келью, пропахнувшую старыми книгами, льется лунный свет и ночной аромат. Монах стоит прямо, как тополь, в волне лунного света и аромата. Монах жаждет, и в этом, в его неутоленности—вся прелесть. Сергей и без того был склонен к чтению, а эта картина еще сильнее подсказала ему, где он должен искать выход своим сердечным неудачам.

Сергей стал проглатывать томы, один увесистее другого. Сергею хотелось все постичь с самого начала. Будто до того, как он пришел в жизнь, никто ничего по-настоящему не изучал. Вот он явился на свет, чтобы с самых азов проконтролировать все достигнутое человеческой мыслью. Начал с геологии, перешел к истории культуры, потом к философии. Среди мятежников и революционеров, где он вращался, он нашел юношу, подобного себе по настроению, и с ним сдружился крепко и надолго, на всю жизнь. Это был Андрей Званов. Их скрепляло не только занятие теоретическими

вопросами, связанными с революцией, но и опасная революционная практика.

Когда революционная борьба их разделила,—Званов остался в ссылке, а Сергей бежал в чужие края,—там ему стало не только грустно, но и трудно и жутко без близкого, почти родного Андрея Званова.

Бельгия. Льеж, улица Таникс, под номером 31. У мадам Гаваш. По соседству живут другие русские эмигранты-революционеры. Их так много, и русский язык так часто слышен на этой улице, что смеялись, будто какой-то бельгиец, попав на эту улицу, удавился с тоски по родной речи.

Сергей погрузился в изучение французского языка по лучшим французским беллетристам и книгам о французской революции.

Когда ночью в железной печке догорали последние угли, в высокой деревянной кровати даже под пуховой периной Сергею становилось холодно. Он кутался, прислушивался к биению своего сердца, и вдруг выплывал вопрос, колючий и неугомонный; „Зачем я здесь?“ Вспоминал все подробности побега и ссылки, припоминал тюрьму с ее баландой, прогулками, с товарищеским теплом. Вспоминал Званова и Черного и Езерского. В особенности, как последний часто подсмеивался над тем, что Черный слишком долго читает Геккеля: „Естественная история мироздания“. „Дружище Черный,—говаривал ему Езерский,—полно тебе трепать Геккеля. Ведь Геккель-то старик, а ты его так долго мучаешь!“ Вспоминал беседы со Звановым о социализме, о том, что будет, если победит пролетариат, о том, что, может быть, жизнь не пойдет так точно по программе и произойдет нечто третье, неожиданное, непредвиденное, ненаписанное. Вспоминал Сергей и свою мать. „Зачем все-таки я здесь?“—опять наступал вопрос. Сквозь мутную темь комнаты он различал на столе пачки революционной русской литературы. Он получал ее из Парижа для переотправки в Россию.

Вот, казалось, ответ на вопрос, почему он здесь. А все-таки только ли это привело его сюда? Могут ли эти пачки литературы двинуть массы рабочих на грандиозный штурм всех старых крепостей, на создание того, чего не было?

В народном доме Сергей слышал речь Вандервельде. Дом народа проникнут был запахом кофе и пива, сам Вандервельде пахнул сигарами. Сергей долго, но тщетно рылся в своей памяти: что же нового для него, для Сергея, говорил этот „многолетний учитель социализма“? Сергей взвешивал все, что слышал из уст Вандервельде,—это было во много раз меньше того, что любой заурядный русский пропагандист дает слушателю на нелегальном кружке где-нибудь в заволжских лесах или на заливных лугах реки Казанки. Кроме того Вандервальде не призывал к штурмам. Он довольно остроумно критиковал некоторые черты окружающих условий.

Вспомнил Сергей и то, что Вандервальде в свое время открыто заявил, что он—социалист, но не марксист.

По живости и угловатости, присущей юности, Сергей однажды сказал своим приятелям по эмиграции:

— А Вандервельде—парнишка так себе, не очень-то...

Революционные эмигранты в ярости повскакали с мест.

— Как это так „парнишка“? Что это еще „не очень-то“?! Бросьте ваши анархические замашки!

Пришлось Сергею отшучиваться какими-то анекдотами, едва выбрался из плена укоров и назиданий.

Но у Сергея оставался вопрос: а если Вандервельде действительно только более или менее способный критик, то неужели вся надежда на действительный социализм вот в таких пачках русской нелегальной литературы? Ведь ее поймут только русские, да и то не все, далеко не все. Иностранцам она вовсе не доступна, хотя бы из-за одного алфавита. Вообще это чудно, что литература о социализме пишется кириллицей. Конечно, есть и западноевропейская со-

циалистическая литература, но большинство ее опять-таки тот же Вандервельде...

Смотрел Сергей поминутно на свои часы, чтоб прогнать скорее ночь, а вместе с ней и тишину, в которой, как в болоте гниль и плесень, разводятся всякие сомнения и вопросы. Ночь, однако, шла своим чередом, медленно и верно.

Человек не может ни ускорить, ни замедлить времени.

Только под утро Сергей засыпал. Вставал поздно, зато со свежей головой и с непоколебимой верой, что штурм старого неизбежен в грандиозных размерах и формах. Голова и руки и ноги его работали, исполненные силы и решительности.

Один раз утром он до такой степени был возбужден и отнесен силой своего воображения на волнующуюся далекую родину, что облачился в русскую рубаху черного цвета, (какие носили студенты социал-демократы), и в таком виде спустился в кухню к мадам Гаваш за кипятком (он каждый день так делал). Едва он открыл дверь и показался на пороге, как мадам, сидевшая на своем обычном месте в старом изодранном кресле у плиты, вскочила и опрометью, как от приведения, бросилась в свои покои. Сергей наполнил маленький свой чайник и, в тихом удивлении, удалился к себе.

Минут пять спустя в его заграничную келью послышался стук. На пороге появилась мадам Гаваш, прямая как стрела.

— Мосье Серж,—начала она строгим голосом,—вы, должно быть, вчера вечером изрядно выпили. Мне все равно, конечно, но как молодого человека мне вас жаль. Вы хоть бы конфеты кушали или что-нибудь, чтобы не пить...

— Мадам, я принципиально не пью как социалист.

— Хорош „не пью", хорош социалист! Посмотрите-ка на себя в зеркало. Вы, должно быть, в этой ночной рубашке спали, а потом забыли ее заправить в брюки и в таком виде спустились ко мне. В своей комнате вы можете хоть целый день расхаживать в ночной рубахе, а у меня внизу дочь— девушка... Неудобно...

Сергей смущенно оглядел себя в зеркало. Русская рубашка сидела на нем опрятно и даже как-то с фасоном была перехвачена ремнем, сохранившимся еще от времен реального училища.

— Видите, видите!—подсказывала ему мадам.—Поверх ночной рубашки вы еще перетянули ремень от брюк. Только с изрядного похмелья можно осмелиться в таком виде предстать перед посторонними.

— Ах, мадам Гаваш, это недоразумение! У нас в России все так ходят.

— Ну, ну, не краснейте, не выдумывайте от смущенья чепухи!—Гаваш погрозила пальчиком.—Пожалуйста в таком виде не появляйтесь. Моя дочь...

— Как приятно, что у вас есть дочь! Я ее никогда не видел.

— Что вы! Что вы!—явно обиделась Гаваш.—Вы не знаете мою дочь Сюзанну? Вы с ней не познакомились еще? Нет, с вами сегодня что-то неладное!

Гаваш ушла. Сергей слышал, как сабо стукали по ступенькам лестницы.

Однажды вечером, возвратясь после доклада Мартынова, Сергей нашел на своем столе открытку, содержание которой состояло из одного слова „пхе" и трех знаков восклицания. Даже подписи никакой. По почерку Сергей сразу понял, что автор этого содержательного письма никто иной как его приятель Черный. Почтовый штемпель открытки гласил: „Вержболово".

Теперь все ясно: Черный из ссылки едет за границу и, переступив порог Европы, таким восклицанием выражает свой восторг. Сергей знал, что Черный органически не выносил ничего обыкновенного. Надо же этаким междометием отметить чувство своей радости.

Предположение Сергея оказалось верным: не прошло и трех дней после получения открытки, как в комнату Сергея

ветром ворвался Черный. С ним в бельгийскую узкую келью Сергея вошел воздух полей и пространств его родины, волнения первой борьбы. Черный рассказывал о Московском комитете, о новых арестах, о быте ссыльных в Холмогорах, о революционной смелости новых и новых рядов, вступающих в неравную великую и радостную борьбу.

Когда же Сергей почувствовал потребность рассказать Черному о загранице, у Сергея прилип язык к гортани. Все здешние накрахмаленные социалисты вроде Вандервельде с их пуританскими народными домами показались такими мизерными, такими затерянными, не связанными с жизнью страны, что вдруг Сергею стало совестно обо всем этом говорить.

А Черный все пытал Сергея о загранице, о том, чему тут может научиться русский революционер. Сергей рассказал только о том, как дружно всюду кричат при демонстрации: „Аба ле кало!“ („Долой католиков!“), да как аплодируют на рабочих собраниях враз и в такт все вместе, словно по команде, да как, если демонстрируют под дождем, то закрываются зонтиками, да как, если демонстрация происходить в то время, когда пора завтракать, демонстранты уписывают захваченные с собой бутерброды.

Так перешли они на разговоры о незначащих предметах, о пустяках.

Прогуливаясь однажды узенькой уличкой Понпюи Зансок, они повстречали женщину в коротеньких носках, короткой юбке, так что виднелись при ходьбе колени. Голые части ног розовели в лучах солнца, опускающихся в желтые воды реки Мезы, и слепили обоих приятелей.

В эту ночь каждый про другого знал, что он не спит.

Для Сергея это была не первая бессонная ночь. Но те, предыдущие, были иные. Тогда тяжелела голова и разламывалась от идеологических контраверз, а эта бессонница—

как палач: отсекает голову, а тело остается само по себе, предоставленное страшным древним мукам...

Как-то раз этот проклятый вопрос Черный поставил отчетливо и до циничности ясно. Сергей испугался этой ясности. Вспомнил свой первый полугрех еще в детстве со страшной черной женщиной, вспомнил нежные побеги первой любви, смутился и уклонился от прямого разговора с Черным по таким делам.

После первой неудачной попытки выяснить вопрос, который, в сущности, обоих их давил и мучил, приятели раз навсегда замолчали по этому вопросу. Шутили, говорили, спорили о чем угодно, а самое главное оставляли в стороне, когда им случалось бывать в обществе с другими товарищами.

Приятели дружно стали жить вместе, изучать жизнь и язык, страны, стали посещать лекции в университете, а летом предприняли даже путешествие по Европе.

ГЛАВА II

В ПОТЕ ЛИЦА

В Швейцарии, в Люцерне они решили расстаться. Сергей видел, что с приятелем что-то происходит. Он плохо спит, все вспоминает Москву, очень много говорит о сестре Серого, их общего приятеля. Он весь стал беспокойство и ожидание.

Сергею некого было ждать. Беспокоило его только одно — как жить дальше, как достать на пропитание, как не пропасть под забором где-нибудь от голода. Черный дал какие-то телеграммы в Москву и домой своей матери и остался в Люцерне, а Сергей, расцеловавшись крепко с приятелем, направился в Париж.

Он поселился на маленькой уличке при выезде из Парижа, у Орлеанских ворот, „рю Фриан“, под номером 40, в семействе одного русского эмигранта, социал-демократа Друзо.

Там он познакомился и с другими эмигрантами—большевиками, как, например, Ника, Фастенков и т. д.

Сначала Сергей работал как фонарщик на бульварах Пор-Руайяль и Монпарнас, потом как грузчик на рю дю-Темпль, потом как каменщик. А по вечерам в своей келье опять принимался за чтение французских авторов. Внимательно прочитал он всего Вольтера и Мольера. Это далось нелегко. Потому что загрубелые от работы пальцы уж отвыкали переворачивать страницы, усталые веки тяжелели и смыкались, во всем теле воцарялся тяжелый жар, как от расплавленного солнца. Остроумие Вольтера иногда приходилось понимать усилиями воли...

Однажды весной, после работы, Сергей решил не умучивать себя изучением и настежь открыл свое большое, во всю стену, окно. Через узкую улицу в окне противоположного многоэтажного дома увидал Сергей женскую рыжую головку. Она смотрела вниз, и поэтому лицо женщины было едва различимо. Вероятно, эта головка постоянно тут живет и, может быть, иногда видела, как преодолевал Сергей страницы Вольтера. Раньше Сергей не замечал ее. Девушка взглянула на него. Лицо ее было все в веснушках. Глаза голубые, подбородок острый, французский, как у Вольтера. Сергей кивнул головой.

Рыжая кивнула ему ответно. Сергей жестом предложил ей спуститься вниз. Она кивнула утвердительно.

Когда Сергей очутился непосредственно перед девушкой, она протянула ему свою хрупкую руку. В ее руке и в ее прическе мягких рыжих волос, немного набекрень, Сергей почувствовал столько доброты, что сравнил женщину с матерью.

— Куда пойдем?—сказал Сергей.

— Гулять на бульвар Клиши.

И пошли.

День был субботний.

На бульваре Клиши вертелись блестящие и звенящие карусели. В палатках вдоль тротуаров бульвара стояли мужчины и женщины, неистово голося о фокусах, о чудесах, о лотереях человеческого счастья. Крик, гром, свет на бульваре, как в аду. Надпись „Ад“ действительно красовалась над каким-то кафе. А рядом, заметила девушка, было другое кафе—„Рай“. Сергей со своей знакомой решили начать с „Ада“. Их встретили официанты, наряженные чертями. Подали сыр и вино. В это время из соседнего кафе, из „Рая“, два архангела (у одного правое крыло было оборвано) привели в „Ад“ апостола Петра для проповеди. Взобравшись на бочку, апостол обратился к чертям и их последователям с речью о преимуществах „Рая“ перед „Адом“. Дьявол, стоявший за стойкой, во-время подошел и стащил за шиворот апостола Петра с бочки. Едва подобрав полы своих многочисленных ряс, апостол удрал в какие-то маленькие двери, как дьявол стал на бочку и давай кощунствовать...

Девушка, с которой был Сергей, оказалась не француженкой, а испанкой и правоверной католичкой. (Она продавала на улицах Парижа, по преимуществу в рабочих кварталах, мороженое.)

— Мороженое—и такими горячими руками!—умилился Сергей.

Он не знал, о чем он должен с ней говорить, тем более, что видел, как недовольна испанка поношениями матери Марии и всех испанских богов. Впрочем, девушка из приличия хохотала над каламбурами чертей и ангелов.

„Конечно, она—пролетарка, она—безрелигиозна,—думал Сергей.—Она может быть прекрасным товарищем и поймет, что такое социализм, и—кто знает?—может, мне суждено вместе с ней умереть на одной баррикаде в мировых боях“.

— Как хорошо, Флера!—радовался Сергей.

— Мне кажется, грех так смотреть...

— Нет, это я про вас. Я мощу улицы, а вы по ним

развозите мороженое. Я стелю каменные ковры для вашей трудовой колесницы...

А Флера—свое:

— Это просто невозможно, какую чушь рассказывает архангел Михаил!

Верзила с ангельскими крыльями стоял на бочке и ораторствовал о тщете земной славы, а потом от имени самого Саваофа предлагал предаться питию.

Сергей умиленно глядел на Флеру и все ждал, когда же начнется с ее стороны это веселое, парижское, о чем он раньше читал и слышал. Он представлял себе, что будет так: она, легкомысленная и поверхностная, увлекает его. Он—целомудрен, идеен, убеждает ее стать на путь великой борьбы. Имея потребность убеждать и пропагандировать, Сергей, почти не сознавая того, хотел все же, чтоб она не целиком восприняла его, чтобы идейные разговоры с ней подобны были игре в мяч: кидай, а она ловит и бросает снова ему. Это как дивертисмент к работе за кусок хлеба.

Но случилось не то. Девушка, не реагируя никак на его пропагандистские идейные разговоры, отвернулась от всех чертей и архангелов, потому что „грех на такое смотреть", и склонила рыжую головку ему на грудь до бесконечности доверчиво и шепнула ему, что ищет тихого, некурящего и непьющего жениха, вот хотя бы такого, как Сергей.

„Непьющий жених" до такой степени перепугался этого, что поторопился расплатиться с гарсоном и до неприличия заторопил бедняжку Флеру итти.

— Куда?—спросила она.

Сергей рястерянно ответил:

— На воздух из здешней духоты.

— Пойдемте завтра в костел,—предложила Флера.

— Что ж, пожалуй,—ответил Сергей, глядя, как заплаканная луна, на которую в Париже никто не обращает внимания, обиженно опускалась за крышу высокого дома.

Для Сергея вдруг все как-то скисло. Про Флеру он досадливо думал, что она ненастоящая испанка. А Флера ласково жалась к нему и говорила, что эту ночь будет бояться привидений.

Много силы воли нужно было Сергею, чтоб не рассориться с ней из-за разных пустяков и разговоров. С трудом проводил он ее до дому. Она все еще ничего не замечала за ним. И только когда Сергей не пришел ни в костел, ни на следующее свидание, она написала ему письмо, полное упреков и заманчивых обещаний, если...

Сергея охватила почему-то тоска, словно он оказался в пустыне.

Когда среди товарищей затевался разговор о женщинах, о проблеме семьи, любви и тому подобном, Сергей пуще прежнего протестовал и занимал самую вздорную позицию.

Бывают такие вечера, когда ничего не хочется делать, когда можно крикнуть заходящему солнцу: „Стой!“, чтоб остановить время, когда все людское кажется маленьким, все небесное—золотые лучи опускающегося в городскую пыль солнца и серо-синее небо—вечным, красивым.

Первая звездочка, появившаяся на востоке, походит на чью-то грустную слезинку, убаюканную в голубых пространствах. Хочется настежь открыть свое сердце и им, трепещущим, прижаться к родной прародительнице—сырой земле, которая все понимает, но ничего не говорит...

Тихим вечером шел Сергей с работы. Он проходил мимо дома, где у столяра Дюпле жил Робеспьер. Сергей заглянул в ворота. Узкий двор, мощеный булыжником, темные стены, высокие узкие окна. Тут—все так же, как было при Робеспьере. Он в этом доме любил одну из дочерей Дюпле, Элеонору. Из этих ворот выходил он с собакой, чтоб пройтись по Елисейским Полям наедине с мечтами. Робеспьер мечтал и любил. Значит, никто еще против этого не устоял. Значит, это есть серьезное, настоящее, важное. Значит,

нельзя от этого отмахиваться или тащить на задворки, как незначащее. Быть может, это-то и есть самое главное. Нет! Самое главное—борьба за иную жизнь человечества.

Сергей поклонился двору Робеспьера и вздрогнул от суеверного страха.

Пошел дальше. На площади, где тянулся длинный и высокий каменный забор завода, какой-то рослый парень с расстегнутым воротом рубахи, с клетчатой кепкой на макушке, нежно жал к забору маленькую черную хрупкую француженку. Она не сопротивлялась, радовалась.

Заметив Сергея, детина вдруг отвернулся от девицы и радостно крикнул Сергею:

— Здорово, старина! (Французы, чтоб выразить дружественность, называют приятелей своих „мон вье", то есть „старина".)

Сергей узнал в нем секретаря союза каменщиков, который принимал его в синдикат (профессиональный союз). Сергей подал ему руку и только что собирался открыть рот, чтоб заговорить с ним, как француз ловким движеньем повернул его руку так, словно сказал: „Не задерживайся, иди дальше, не мешай мне". Едва успел Сергей смутиться и неуклюже двинуться дальше, француз опять все свое внимание отдал маленькой брюнетке.

Сергею показалось, что он сорвался с выступа скалы. Он уж не идет теперь, а стремглав летит в бездну. Эта бездна—круглое одиночество сердца. Идейно он далеко не одинок, наоборот—товарищей хоть отбавляй, спорам нет конца, и впечатления от жизни огромной французской столицы многоцветны, богаты. Но сердцем он один, одинок. От этого и самая идейная жизнь носит особый отпечаток. В родной земле этого не было бы.

Долго-долго темными ночами анализировал Сергей себя, взвешивал себя на весах целесообразности жизни. Решение железной силы вошло в него. Оно беспощадно гласило: „Ты должен быть там, где родные тебе товарищи в неравной

и тягчайшей в мире борьбе падают и снова идут. Здесь—тлеть, там—сгореть. Лучше сгореть. Непременно туда!“

Его твердое и радостное решение было неожиданным для окружавших его товарищей. Они даже немного не понимали и относили такие беспокойные передвижения Сергея на счет его склонности к бродяжничеству. Не будучи вовсе бродягой, Сергей, однако, охотно поддерживал сию версию. Пусть!

Сергей с радостью сунул свою голову в опасность. Он ни о чем не сожалел из того, что осталось позади. Он знал, что гибель настигнет его скоро: в партии много провокаторов.

Но именно отчасти потому и нужно безбоязненно работать, работать, работать!

ГЛАВА III

СТАРЫЕ ТОВАРИЩИ

Явка у Сергея была к хромому Абраму. По профессии он был портной, одноногий. Вместо другой ноги—палка под плечо, клюшка. Как большинство людей, сильно физически пострадавших, Абрам был страшнейший оптимист.

Он рассказывал Сергею о последних арестах, о том, что комитет арестован почти в полном составе, что найден склад литературы, что оставшиеся члены организации так запуганы, что трудно возобновить связи.

Но—Абрам сверкал очами—все это восстановится в работе, расцветет еще пышнее. По его мнению, нужно было бы только вот подлецов провокаторов изловить.

Когда Сергей позволил себе скромно заметить, что это-то и есть самое трудное, Абрам кричал, что он лично каждого человека насквозь видит: провокатора определить—самое простое дело...

В общем решено было, что Абрам свяжет Сергея с остав-

шимися из комитета и на ближайшее воскресение соберет массовку за городом из лучших рабочих.

Сергею положительно негде было ночевать. Вопрос серьезный и даже немного щекотливый: никто не предлагает, а самому просить не всегда удобно.

Первая ночь по его приезде из-за границы была теплая, и было вполне удобно и даже приятно поспать в нише одной маленькой часовни на окраине города. Но не всегда же будет стоять такая погода. И, кроме того, хотелось иногда умыться. Вот Абрам,—но у него ночевать ни в коем случае нельзя. У его квартиры, вероятно, шпики. Да и что в самом деле—все Абрам да Абрам! Конечно, сходить к нему еще раз, чтобы посоветоваться, было бы можно. Посоветоваться—это другое дело. Это ненадолго...

Предаваясь таким размышлениям и мечтам о том, как хорошо было бы в самом деле сполоснуть лицо водой, умыть руки, Сергей отворил скрипучую дверь абрамовой комнаты. Были сумерки. Абрам, видно, только что возвратился с работы усталый, прилег на свой просиженный, пролежанный диван и заснул, закатив голову назад, наполняя комнату странным сапом с присвистом. У дивана на полу лежали его две клюшки.

Сергей решил, что нельзя прерывать сон измученного работой человека. Лучше дождаться естественного пробуждения. Сергей осторожно притворил дверь и сел за стол. Достал из кармана записную книжку и на ее листах стал писать письмо своему другу Званову. Он все еще был в ссылке, и Сергей с гордостью сообщал ему, что он не выдержал заграницы и решил снова вплести свои силы и знания в общую центральную борьбу. Сергей писал своему другу о трудностях работы, о распространяющихся кругом шкурничестве и мещанстве, о заволакивающей весь горизонт реакции. Черно, все черно. И в черноте есть лишь редкие факелы красного огня. Факелы светят, то потухая, то всплывая...

„Да, но где я сегодня буду ночевать?“—такой фразой закончил Сергей свое письмо Званову. Голова Сергея сама свалилась, как созревшее яблоко, над бумагой. Он заснул так же сладко, как Абрам.

Абрам как раз в это время начал пошевеливаться. Открыл мутные глаза и долго не мог сообразить, где он и почему тут же спит Сергей. Абрам решил не будить Сергея,—ведь он, наверное, от усталости так спит. Абрам тихо приподнялся на локтях, стараясь не давать дивану начать свои писки и трески, которые диван издавал всегда, лишь только кто-нибудь на нем шевелился. Осторожно, ощупью достал Абрам свои клюшку и посох.

Не вздувая лампы, он достал со стола хлеб, вчерашнюю холодную картошку и неизменную воблу. Сел на подоконник, чтоб виднее было, и стал есть.

Поужинав таким образом, он достал шкалик водки, выпил, закусил последним кусочком хлеба.

У Абрама была когда-то жена, она ушла от него, от безногого. Абрам никак не мог привыкнуть жить одиноко. Он не о жене горевал, а страдал от одиночества. Поэтому был рад всякому живому существу в своем убогом жилище. Рад был и кошке, и собаке, и человеку, особенно знакомому.

Абрам осторожно, ощупью обшарил шкаф, потом полку около умывальника, комод—и нашел еще хлеба, постное масло, лук и воблу. Все это он разложил перед Сергеем. С превеликим трудом выдвинул из-под дивана маленький деревянный сундучок, достал оттуда чистое полотенце и положил его на спинку стула, на котором сидел Сергей. Потом тихонько улегся опять на диван. Поднял единственную ногу, размотал портянки. Приподнял голову. Посмотрел на Сергея. Тот спал, как ребенок. Абрам вытащил из-под своей головы подушку и положил ее на стол. Потом стянул с себя одеяло и—тоже на стол, для Сергея. Опять осторожно, на локтях приподнялся с дивана и, шаря руками в

синеватой темноте, стал устраивать Сергею постель на полу.

Про диван Абрам подумал: „У дивана все ребра наружи, не дадут они спать... надо привычку иметь. Пусть лучше ляжет на полу“.

Положив себе под голову все, что нашел, и укрывшись пальтишком, Абрам уткнулся в диван и стал сладко засыпать.

В это время проснулся Сергей. Абрам еще не заснул, слышал, как Сергей начал возиться, и даже полуоткрытым правым глазком немного вбок Абрам пытался различить, что он будет делать. Но ничего не было видно. Сергей опять решил не будить Абрама. Сергей встал, сделал шаг по направлению к двери, чтобы уйти, но запнулся о приготовленную ему постель. Наклонился, пошарил руками. Показалось приятно. И в самом деле: тепло, мягко, темно. Куда же еще итти на уличный ветер? Лучше поменьше циркулировать по улицам, а то шпики... Успокоив себя этим, Сергей опустился на колени, стал разуваться. У Абрама была мысль сказать Сергею, чтобы он поел и умылся, но сейчас же Абрам сообразил, что Сергей как интеллигент начнет еще отказываться ночевать и, чего доброго, от стеснения, внушенного неумными воспитательницами, удерет куда-нибудь, нивесть куда, в ночь. А так по крайней мере отказываться ему не перед кем, и он преспокойно заснет и выспится.

Сергею даже мысль в голову не пришла, кто ему приготовил постель. Он действовал как в полусне. Разулся. Едва затылок его потонул в мягкой подушке, как Сергей, сложив на груди руки, заснул крепким здоровым сном.

Когда Сергей проснулся, Абрам сидел за столом и пил малиновый чай.

— Что же, что же это такое?—весело сказал Сергей, полный силы и ощущения укрепившегося здоровья.—Абрам, я тебя стеснил.

— Вот что, растабаривать мне долго некогда, я бегу. Можешь остаться еще ночевать, но по-моему, это небезо-

пасно для тебя. Если хочешь, для ночевки я тебе дам адрес одного интеллигента, у него квартирешка ничего. Он сам тоже парень активный, но, конечно, на более хорошем счету, чем я. Мы у него устраивали не раз ночевки.

— Кто такой?—Сергей зашнуровывал ботинки.

— Он законспирирован. Мы никогда не называем его по фамилии. Вообще ты не должен его самого спрашивать, а спрашивай его жену. Вот тебе его адрес, запомни. (Абрам назвал улицу и номер дома.) Как придешь, спроси Екатерину Семеновну.

Сергей воззрился было на Абрама удивленными глазами, но тут же подумал: „Не может быть, не она...“

Сергей успел обжечь губы кипятком и вместе с ковыляющим, как челн в волнах, Абрамом вышел на улицу. По их наблюдениям, шпиков не было. Они спокойно прошли квартала два и расстались.

Сергей понимал, что о ночевке надо позаботиться с утра. Он отправился по только что данному ему адресу.

Это оказалась хорошая, хотя и скромная часть города. Дом-особнячок цвета сливочного масла. Перед входной дверью половичок. Сергею открыла пожилая полная дама, почти с придворными манерами. Она вступила с ним в разговор не раньше, чем он очутился в гостиной, маленькой, скромной, но с большим вкусом обставленной и украшенной.

— Мне бы Екатерину Семеновну,—сказал Сергей.

— Ее, к сожалению, нет, и она не скоро будет. А вот ее муж сейчас придет. Вы можете его подождать.

— Благодарю вас. Я подожду.

Дама поклонилась и удалилась неслышно.

Видимо, прислуги в доме не было, потому что, когда раздался у двери звонок, то Сергей видел, как та же гран-дама прошла отворять.

Сергей слышал, как дама материнским тоном говорила:

— А тебя здесь ждут.

Сергей не успел встать с кресла, как быстрыми энергичными шагами в гостиную вошел красавец огромного роста, прекрасного сложения, Алексей Репьев.

Сергей присел, потом выпрямился и обезъязычел.

— Да ведь мы отлично знаем друг друга!—вскричал Репьев, протягивая Сергею обе белые руки.—Мы ведь знаем друг друга...

Сергей очутился в объятиях Репьева. От него веяло ветром, здоровьем, силой.

— Виноват, как теперь тебя... вас называть?..

— Имя прежнее—Сергей, а фамилия Захаров.

Но Репьеву это было все равно, ибо он и без того забыл, как была настоящая фамилия Сергея.

— А-а-а, теперь Захаров,—протянул он.—Прекрасно! Звучное имя.

Приятели посмеялись.

— Вы мне когда-то говорили, что женщины не любят, когда их любят, а сами женились,—Сергей хотел сказать это как шутку, как начало обывательского разговора.

— Ну, знаете ли, со мной женщина исключительная. Пойдемте-ка, я вас познакомлю с матерью. Вы давно ли? Откуда, собственно?

Обняв Сергея, Алеша повел его в другие покои. Он никак не давал Сергею объяснить, почему тот зашел к Репьеву. Сергей даже не успел сказать ему, что он пришел по указанию Абрама. По партии, по революции—Репьев старше Сергея. Сергей был о нем много наслышан. Первые революционные впечатления Сергея связаны с именем Репьева. Это всегда поселяло некоторую робость его перед Репьевым. Сергей чувствовал себя немного связанным, неуклюжим, никак не мог найти правильного, ровного тона с Репьевым. А Репьев вел себя ничуть не покровительственно,—наоборот, скромничал, умалчивал о своих заслугах, о трудностях работы, об опасностях.

Краснея и потея, Сергей все-таки сообщил Репьеву, что

он вернулся из-за границы с литературой и теперь хотел бы безраздельно отдаться революционной работе. Репьев аршинным шагом мерил ногами в сапогах ковры своей гостиной и шумно одобрял намерения Сергея. Целый доклад сделал Сергей о положении дел.

Сели обедать. Сергей, отвыкнув от приличной трапезы, забыл положить салфетку на колени. Репьев, из деликатности к товарищу, порицал немецкий обычай обедать непременно с „простынями“ или „полотенцами“.

Сергей все подкарауливал момент, когда поудобнее всего было бы сказать о ночевке.

Давно уже кончили обедать, перешли в маленькую комнатку пить чай, зажгли лампы, а Сергей все еще не уловил момента.

Репьев выразительно посмотрел на часы и сказал, что должен ехать немедленно на завод, где он работает как инженер-механик, но что Сергей может остаться у него сколько угодно. Вечером должна была прийти жена Репьева, с ней Сергей познакомится и найдет в ней—надеялся Репьев—небезынтересную собеседницу.

Сергей начал лукавить, ссылаться на то, что он должен непременно итти.

— Куда вам торопиться?—удивлялся Репьев.—Вам, поди, и ночевать-то негде. Знаю я вас, нелегальную братию.

Сергей обрадовался: Репьев вывел его из смущения. Сергей сознался, что ему действительно негде ночевать.

— Мама,—громко и сочно сказал Репьев,—приготовьте товарищу постель и все прочее. Скажите Кате—я приду позже. Если она хочет, пусть позвонит на завод.

Прежде чем смущенный Сергей успел рассыпаться в благодарностях, Репьев большими шагами вышел из комнаты.

Сергей, как и всякий на его месте непристроенный, без крова человек, не знал, что ему делать, сердце сжималось от сознания, что вот эти часы его жизни пробегают как-то

не наполненные до краев. Он обратился к книжным шкафам Репьева,—они буквально ломились от фолиантов интереснейшей русской и иностранной литературы. Сергей принялся за Плеханова „Критика наших критиков“ да так увлекся, что не заметил, как наступил вечер, как пришла молодая Репьева, и как она, хрупкая, худенькая, с величайшим вкусом одетая, тихо вступила в гостиную.

Она сразу узнала Сергея, по коврам подошла—Сергей сидел спиной к двери—и положила ему на плечо свою теплую узкую руку.

Сергей вздрогнул, оглянулся. Перед ним стояла Катя Свинцицкая. Та самая, которую он знал много лет назад. Та самая. Безусловно—та. Только в ее глазах теперь светилась определенность человека, знающего свой путь до самого гроба. А в остальном—в ней та же гибкость, та же доброта, те же покой и ласковость. Теперь, когда она улыбнулась Сергею, он заметил и еще новость: две не бывшие прежде морщинки под глазами, но они только веселили лицо и делали улыбку ее чуть-чуть озорной.

— Так это вы... Екатерина Семеновна?

— Попрежнему—Катя,—просто, пожалуй, слишком просто сказала она.

Могут иногда женщины найти такой тон, что о самом дорогом, святом и незабываемом скажут, как о цене на сахар. Тон ее вдруг надломил Сергея. Ему захотелось уйти. Поболтали они о незначащем. Катя ушла переодеться и потом помочь маме ставить самовар, что-нибудь изготовить Сергею закусить. Сергей сказал сам себе: „Погреюсь у чужого очага“.

С этой мыслью он пил чай в обществе мамы и Кати, с этой мыслью он рассказывал им о своих заграничных скитаниях, с этой мыслью он ушел в отведенную для него гостиную спать на диване, заботливо превращенном в постель руками Кати, той самой Кати...

Сергей лег, повернулся к стене. Долго слушал свое дыха-

ние, слушал, как бьют часы на какой-то колокольне, как отвечают звонари на других. Кровать была пышная, мягкая, простыня чистая, подушка пуховая. Перед сном Сергею дали выкупаться в ванне и обтереть себя мохнатой простыней. Дали даже чистую ночную рубаху Репьева. Все было так гигиенично, чисто, гостеприимно, широко без подчеркивания и излишнего шума. Только бы спать да отдохнуть! Давно в таких условиях не был Сергей. Но странно—сон бежал от его глаз. Ни чистота и белизна постели, ни свежесть проветренной комнаты, ни чистая вода—ничто не могло дать Сергею такого сна, каким он почивал у хромого Абрама на ковре.

„У чужого огня, рядом с чужим счастьем",—так наседали эти мысли, словно хотели выжать у него слезу.

Но глаза Сергея были сухи, в них было удивление перед своей судьбой—судьбой бродяги. Глазами сухими и жаркими Сергей встречал кроваво-красную зарю утра, показавшуюся в окне в спущенных шторах. В доме всю ночь была тишина и покой, в доме, видимо, все были довольны жизнью.

Наутро Сергей освежился холодным душем и был, как все в доме, тактичен и в меру говорлив. Репьев уходил рано. Сергей вошел в столовую в тот момент, когда он на прощанье поцеловал Катю и подошел к руке матери.

— Ах, вот и он,—сказал Репьев, как всегда, бодро.— Смотрите, не приревнуйте меня к ней... вы, оказывается, за ней когда-то того...

Сергею неприятно было это „оказывается". Чего „оказывается", когда Репьев ведь это вполне точно знал. Но самое худшее было то, что Катя даже не покраснела и смотрела открытыми большими глазами, словно перед ней был не человек, а монумент.

— Приходите к нам и сегодня ночевать, вообще не стесняйтесь. Катя вас любит,—проговорил Репьев, подал Сергею руку и вышел поспешно.

Дали Сергею хорошего кофе. Потом он поблагодарил за угощенье и за приглашение ночевать и ушел в публичную городскую библиотеку. Там можно было спокойно заниматься целый день.

А к ночи чего-нибудь найдется. Сейчас Сергею не хотелось об этом думать. Нужно экономить свои духовные силы для дел поважнее. Сегодня он проведет время в библиотеке, а завтра у него свидание с Малиновским, через него Сергей найдет себе приют.

Между завтра и сегодня всего только одна ночь. Может быть, на счастье, погода будет хорошая. Восход-то солнца был роскошный.

Сергей отправился к металлисту Перову. Его Сергей знал еще до своей первой ссылки. Тогда Перов был статный, высокий, красивый человек, брюнет, глаза которого сверкали, как черный алмаз. Лицо смуглое, накаленное внутренним огнем. Любил франтить, любил тонкие тросточки, широкополую шляпу, веселье и риск. Удалой был пролетарий. Споров теоретических не выносил. Зато любил практическое конспиративное дело и выполнял его прекрасно. Разбросать листовки, отпечатать прокламации, организовать патрули, как вехи на пути в загородной массовке, достать оружие, скрыть человека и самому скрыться—на это он был первый и удачливый. Все такие дела он совершал даже с каким-то щегольством, как спорт. Он был настоящий борец-пролетарий, потому что отлично понимал смысл того, что делал. Несомненно, такого человека, если только он под влиянием разгрома организации не отстал, надо снова втянуть в работу. Для этого и отправился Сергей к нему.

Были грустные осенние сумерки, когда Сергей подошел к деревянному, покачнувшемуся домику, выкрашенному в кирпичную краску. Оттолкнул не без труда оборванную дверь, обшитую войлоком, и очутился в большой, но низенькой и темной комнате, по грязному полу которой ползало четверо маленьких ребят и около них—разлитая по полу

чашка с квасом. Рыжий кот мурлыкал на низеньком сундуке у окна.

— А где Перов?—спросил у детей Сергей.

Дети испуганно смотрели на него и не отвечали.

Сергей перешел к наводящим вопросам:

— Он ушел, наверно?

— Ушел...

— А придет?.. Далеко ушел?

— Придет...

Сергей сказал коту: „Брысь!“—и сел на сундук писать записку Перову. В это время распахнулась дверь, и в комнату вошел сам Перов. Сергею сразу бросился в глаза отпечаток времени на лице Перова: черные глаза ввалились, у рта морщины, лицо из смуглого сделалось зеленым. И весь он ссутулился. Но увидав Сергея и узнав его, Перов, видимо, вспомнил свои удалые дни, выпрямился, бодро подошел к Сергею, на глаза навернулись слезы. Он сразмаху поцеловал Сергея.

— Дорогой товарищ Перов,—растрогался и Сергей, потому что сам долго не был в таких теплых, родных объятьях,—как ты, что?

И тут же Сергей учуял изо рта Перова запах водки, смешанный с луком и соленым огурцом.

— Да как... вот, как видишь.—Перов указал на квартет детей.—Везет мне: второй год женат, и два раза по двойне, и все живы... Нет, нет, я люблю,—он поднял на руки младшего, чумазого и черного, как арапчонок, мальчишку, вылитого отца,—я их люблю... Дети ведь, ничего не скажешь.

— Женился, значит?

— Женили.

— Не сам разве?

— Эх, уж что говорить, сам дурака свалял!

— Жена-то „наша“ тоже?

— А кто их разберет! Бабы—они притворяются, что

понимают наше дело. Они всю жизнь, до гроба, суки, притворяются.

Перов опустил ребенка на пол и достал из кармана „косушку“ водки.

— Выпьем, пропагандист ты мой милый,—грустно сказал Перов Сергею и из другого кармана достал сухую воблу.

Сергей подумал, что неудобно тут пуританином быть, и подвинулся к столу. Выпили. Сергей стал было чистить воблу. Дело не подвигалось,—не умел он.

— Вдарь об угол,—сказал Перов,—несколько раз... вот так, вот так... она мягче станет, тогда и чисть. Заграничный ты стал.

Сергей все как-то не решался приступить к главной теме—об организации. Перов сам вывел его из нерешительности.

— Вот, брат, тебе и партийная работа,—он показал на кучу детей, которые уже начали пищать и драться между собой, и на огромный ворох всякого тряпья, лежавшего в углу.

— Разве это мешает?

— А ты как, Сережа, думал? Мне, например, на хлеб не хватает, а работаем вдвоем, жена в прачечной. Да опять беременна.

Сергей ничего не умел на это ответить. Он в сторону отложил это и начал, немного возбужденный водкой, произносить зажигательную речь.

Перов, под влиянием той же водки и агитации, тоже воодушевился и начал в самых отборных и горячих ругательствах клясть свою жизнь и грязное человеческое тело, которое готово безостановочно родить себе подобных.

Они заключили друг друга в объятия. Перов расплакался. Он готов у себя хоть склад литературы устроить, но не может.

— Свиристелка-то моя,—пояснил он про жену,—того и гляди, побежит в полицию. Она, дура, думает этим сохранить меня для детей... Ничуть не бывало!

Перов нежно гладил рукой осушенную бутылку.

— Ты прости меня, Сережа, но тебе пора итти, а то скоро придет, лаяться будет...

— Видишь, я думал насчет массовки,—тешил себя Сергей последней надеждой.

Перов сначала кисло поморщился, а потом сказал:

— Трудно, почти невозможно... А может... Знаешь что, приходи в субботу в пивнушку, поговорим, выпьем. Да, вот я тебе еще дам связь, если хочешь. Ты, может, его помнишь—хороший рабочий, столяр сызранский, мы его просто Петькой звали. Он от эсеров к нам перешел.

Перов несколько раз повторил адрес этого Петьки, а Сергей затвердил его.

— Прощай,—сказал Сергей тихо, грустно.—Ты, смотри никому не говори: я нелегальный.

— Что уж ты! Чай, я не совсем расстался с прошлым, знаю, брат, знаю. Я еще вернусь... может быть.

Массовка состоялась. Отыскались два „завалявшихся“, не попавших в руки жандармов комитетчика. Работа стала развертываться. Организовано было три кружка и маленькая техническая группа для выпуска листовок. Сергей вошел в эту группу. Она была особенно законспирирована. С ней сносился от комитета один только Роман Малиновский, но и это обставлялось весьма надежно. Так, с Малиновским виделся только Сергей, очень редко, и то в музеях и картинной галлерее.

Малиновский сообщил Сергею, что имеется зарытая где-то типография, что хорошо бы возобновить работу печатного станка.

Сергей решил, что для этого дела будет подходящ тот самый сызранец Петька, о котором говорил Перов.

Петьку Сергей знал раньше. Это был немного замкнутый, немного излишне аккуратный, но преданный революционер. Он всегда стремился мыслить, критически воспринимать дей-

ствительность. В этом отношении он являл полную противоположность Перову. Петька всегда стремился к постижению теории, к тому, чтобы самому придумать, обмозговать каждое положение.

Вспомнив адрес, Сергей направился к Петьке.

Старушка, у которой жил Петька, сказала, что ее жилец возвращается очень поздно: он после работы уходит ежедневно заниматься в публичную библиотеку, и, пожалуй, там его можно застать теперь.

„Похвально",—подумал Сергей и тяжеловатой походкой направился к библиотеке.

Между длинных, приятно освещенных столов он очень скоро отыскал Петьку. Перед ним был раскрыт учебник геометрии для средних школ.

Петька не сразу узнал Сергея: как-никак, три года прошло. А узнав, снисходительно улыбнулся и молча направился с Сергеем в коридор.

— Ну, как заграница-то?—сказал он, делая по возможности вежливое лицо.

— Да так себе.

— Пролетарии-то, наверное, пообразованнее наших?

— Ничего подобного!—горячо ответил Сергей.

— Ну, это вы что-то неладное, наверное.

„Вы" резнуло ухо Сергею. Рабочие, где бы они ни были, на всем земном шаре своим товарищам по работе или по революционной борьбе всегда говорят „ты", а этот—нà, поди...

— У нас безграмотность, а там обязательное обучение.

— Не везде, да и само по себе оно уж не так много стоит... А вы что поделываете?

— Сдал весной за четыре класса гимназии, получил звание аптекарского ученика, а теперь готовлюсь на аттестат зрелости. Перегоним вас, интеллигентов.

— Как говорится—подавай бог.

Сергей нарочно спускался в небрежный тон. Он понял, что все равно с Петькой больше не о чем говорить.

— Вам что? Может быть, ночевку?—спросил Петька, чтобы уразуметь, зачем его потревожил Сергей.

— Да,—испытующе ответил Сергей.

— Не могу, дружище, честное слово, не могу! Вы на меня не сердитесь. Я ведь сам недавно из тюрьмы, год крепости отчебучил. Хочу самообразованием заняться.

— Науки юношей питают, отраду старцам подают,—сказал Сергей ему вместо „до свиданья" и прибавил:—Так-то, товарищ аптекарский ученик!

— Постой, постой!—закричал ему вслед Петька.—Это классовая борьба между мной как пролетарием и тобой как интеллигентом. Вы,. интеллигенты, сложились в касту мудрецов и не хотите никого допускать в свою среду. Поэтому каждый рабочий, который хочет стать на самостоятельные ноги, априорно противен вам.

— Априорно—нет. Вы, товарищ, говорите „априорную" неправду, и странно слышать подобное утверждение из уст марксиста!

— Я марксист эмпириокритической школы.

— Оно и видно! Прощайте.

— Не сердитесь, товарищ Сергей, ей-богу, не могу дать ночевки.

Расстались.

На помощь Сергею пришел восторженный Абрам. Он сказал, что знает сугубо и исключительно конспиративного человека, довольно старого, но очень молчаливого партийного работника, типографа Фому Фомича Фомкина, которого среди товарищей звали—должно быть за обилие „фо" в его имени—просто Фо-Фо. Его и Малиновский лично знал,—словом, полное партийное ручательство. Знали его и солидные комитетчики, как, например, известный переводчик Маркса Иван Иванович и другие.

В общем дело пошло как будто на лад. Работать было

тем радостнее, что с этого года стала заметно нарастать волна революционного движения. В особенности бурлил тогдашний Петербург. Движение стало для царизма прямо угрожающим, когда на золотых приисках в Бодайбо жандармский ротмистр Терещенко расстрелял толпу стачечников.

В то время как Абрам, Сергей, Фо-Фо, Дугач, Малиновский, Репьев и даже Перов и многие, многие большие, средние и технические работники сплачивали вокруг красного знамени силы, вносили сознательность в рабочее движение, правительство из всех сил стремилось разложить движение. И для этого оно располагало одним дрянненьким орудием школы французского сыска—провокацией.

ГЛАВА IV

КОШКИ-МЫШКИ

В низенькую, но просторную, зеленого цвета, комнату ввели на допрос Петьку сызранского, аптекарского ученика по аттестату, а по жизни—столяра.

Испуганными глазами Петька обвел внимательно всю комнату, но не нашел в ней присутствия человека. Сел в кресло. Через минуту, не вытерпев такого одиночества, обратился к жандарму, который его ввел и, по правильному расчету Петьки, должен был стоять у двери.

— Господин вахмистр, а скоро придут?

— Я не вахмистр, а унтер. Не знаю.

— Мне бы пить, что-то хочется...

— Уж не самоварчик ли вам прикажете? И что это за напасть: как кого приведу к допросу, так сейчас же пить!

Унтер смерил его взглядом с ног до головы и закрыл дверь.

Хотелось Петьке подойти к письменному жандармскому столу, посмотреть, что там, но боязно: вдруг за ним под-

глядывают, нарочно одного оставили, играют, как с мышкой (недаром же начальнику жандармского управления фамилия была Кошко), еще новое дело создадут. Если же Петька будет сидеть скромно, то никакого дела предъявить ему нельзя. В революционной работе он, с тех пор как вышел из тюрьмы, не принимал никакого участия. Очевидно, жандармы „замели“ его по старой памяти. А может быть, какой прохвост, сделавшийся теперь провокатором, из личной мести закатил его?.. Но раз Петька действительно чист, как кристалл,—его должны после допроса немедленно освободить. Допрос выяснит полную его непричастность. Вот только этот роковой визит к нему в библиотеку нелегального Сергея! Этот неосторожный поступок мог вызвать подозрения у жандармов. И зачем такие люди, как Сергей, бегают из ссылок, скитаются по заграницам и потом ходят, ищут ночевки, а в результате только других подводят? Впрочем, что ж? Ведь Петька ему не дал ночевки, только разговаривал с ним, и то всего-навсего один раз. В конце концов Петька мог и не знать, что Сергей—нелегальный. Безусловно, он этого не обязан знать и не знает, да и все тут.

Петька сидел лицом к окну (если человек находится один в закрытом помещении, его лицо всегда бывает обращено к самому светлому пункту), спиной к двери. Он не видал, как вошел худой, желтый, с мускулистым и скуластым лицом ротмистр. Ротмистр сделал вид, что не заметил сидящего, и прошел деловым шагом к столу. Сел и стал разбираться в бумагах, будто бы наедине с собой. Петька смутился и кашлянул. Ротмистр поднял на него свои усталые глаза.

— Простите, я не заметил. Этот болван унтер меня не предупредил. Не угодно ли закурить?—подставил портсигар.

— Я не курю.

— Конечно, как все истинные социал-демократы.

— Я, как вам, вероятно, известно, совсем не социал и никогда им не был.

— Ну, ну, простите меня. Не будем пререкаться. Я ведь

знаю, что ни один допрашиваемый не скажет про себя, что он член организации, социалист и так далее, если только он не провокатор. Ну, а с этим сортом людей я брезгую разговаривать. Грязные типы! Не правда ли, если сейчас он придет и продаст вас, то завтра предаст и продаст — нас? Верно?

— Положительно.

— Вы простите, уж коли вы здесь, давайте напишем протокол. Вот сначала заполните эту скучную часть: имя, отчество, где родились, образование, национальность и прочие, никому не нужные вещи. Пожалуйста! А я пока поработаю.

Он подал Петьке лист бумаги, на котором были вопросы, а сам стал рыться в своих папках.

Петька аккуратно все записал. В рубрике образования поставил: „Аптекарский ученик, готовлюсь на аттестат зрелости“.

Какой-то вилюйкой-змейкой вплелась Петьке мысль, что все-таки ротмистр, не в пример другим, очень культурный.

— Я написал, — сказал Петька.

— Благодарю вас! Простите, сию минутку... Целую кучу рапортов должен просмотреть, — говорил, роясь в бумагах, ротмистр. — Удивительно скучно!

— Может, мне итти?

— Момент, сейчас... — Ротмистр быстро пробежал глазами то, что написал Петька. — Вы, оказывается, не простой рабочий? Как это приятно — иметь дело с человеком, стремящимся к образованию, стремящимся стать в ряды людей интеллигентных и мыслящих. Чем скорее вы придете к научному мышлению, тем скорее отойдете от крикунов, которые портят свою собственную жизнь и жизнь других.

— Да я и так от них далек.

— Но в крепости-то все-таки сидели, с эсерами связаны были, замечены...

— Я вас уверяю, что теперь я от этого отошел.

— Значит, были там?

— Нисколько.

— Ну, хорошо, я не буду пользоваться тем, что вы проговорились. Раз вы раньше с ними были связаны, значит знаете многое, во всяком случае больше, чем мы, которым приходится пользоваться только сведениями агентов, в большинстве случаев людей невежественных, путающих марксистов с эсерами, эсеров с анархистами и тому подобными.

— Но что вы от меня, собственно, хотите? Я вашим агентом ни в какой мере не собираюсь быть.

— Об этом и речи быть не может, даже если бы вы сами мне предложили. Мой принцип—культурное выяснение правды и тех, может быть, заслуживающих удовлетворения нужд, которые испытывает рабочий класс. Например, свобода стачек—вещь назревшая. Если бы у нас она была, то не было бы этой ужасной истории в Бодайбо.

— Совершенно верно.

— Вы—за политические свободы?

— Я в стороне от этого.

— Как же так вы сейчас сказали, что вы за свободу стачек, а это одно из требований социал-демократии... Но, повторяю, не буду пользоваться вашей откровенностью. Итак, мы с вами оба за свободу стачек, за республиканский строй.

— Только вы допрашиватель, а я—допрашиваемый.

— В сущности, разница небольшая. Когда вы возьмете власть, положение будет обратное. Не правда ли?

— Все может быть.

— Значит, мы борющиеся стороны, борющиеся благородно, то есть ищущие компромисса. Если бы вы мне сочли удобным сказать, какие сейчас требования и лозунги циркулируют в рабочем классе, в организации,—это бы и было платформой для обсуждения возможного удовлетворения рабочих требований. И вы в этом деле как культурный рабочий сыграли бы выдающуюся роль.

— Я уже вам заявлял, что я не знаю, я не соприкасаюсь с этой средой, ни с эсерами, ни с эсдеками.

— Так соприкоснитесь. В чем же дело? Я первый вам дам связи, да, впрочем, вы и без меня их имеете немало.

— Оставьте меня в покое: я хочу учиться.

— Одно другому не мешает. Как развитой рабочий вы даже будете пользоваться влиянием в среде пролетариата. А мы вам поможем экзамен сдать на аттестат зрелости.

— Нет, уж от вашей помощи увольте.

— Как хотите, не настаиваю. Я говорил это потому, что вижу с вашей стороны горячее стремление стать настоящим человеком и действительно принести пользу труду, борющемуся с капиталом. Я вас считал на голову выше вашего приятеля Абрама. Кстати, как он поживает?

— А я почем знаю?

— Ну, уж это нехорошо! Ведь вы же с ним в одной камере сидите, имеете возможность беседовать каждый день. Ничто меня так сильно не поражает в вас, господа социалисты, как вот такая бессмысленная ложь.

Петька залился краской.

— Не краснейте, я только так.

— Я нисколько вам не врал, как вы думаете. Я в самом деле с Абрамом не разговариваю. Они все теперь меня бойкотируют.

— И Сергей?—вставил ротмистр.

— Конечно, и он. Положительно все. За то, что я отошел и занялся науками.

— А они—революцией?

— Я этого не говорю.

— Но это вытекает из ваших слов. Даже и с этой точки зрения для вас было бы полезно связаться с ними. Они бы прекратили бойкот, включили бы вас в организацию.

— У них, вероятно, никакой организации нет.

— Ой ли! Тогда бы они вас не бойкотировали. За одно занятие науками не бойкотируют. А вот если вы отошли от

революционной работы, которой они заняты, то—тут я согласен с ними—это нехорошо с вашей стороны, нехорошо покидать товарищей в борьбе, не по-рыцарски это, некультурно даже, если хотите.

— Я вас прошу освободить меня.

— Сейчас. Я только хочу для себя набросать сущность нашей беседы.

— Да зачем же это?

— Вот тебе раз! У меня с детства привычка записывать всякий интересный разговор. Поверьте, если бы вы были ординарная личность и разговор с вами не имел бы ничего интересного, я не записывал бы. Даю вам слово!

При этом ротмистр нажал невидимую кнопку на столе, Вошел унтер.

— Отведите в камеру,—быстро сказал ротмистр.

Петька встал, очень вежливо поклонился и вышел в недоумении за унтером. Тот отвел его в узенькую комнату, камеру при жандармском управлении. Потом туда на подносе принесли из ресторана довольно вкусный обед—и книг, из библиотеки жандармского управления. Книги были—Шеллер-Михайлов и Боборыкин. Затем принесли на подпись Петьке застенографированный его разговор с ротмистром. Петька отказался подписать, возмутился. Унтер пожал покорно плечами и ушел с протоколом. Вечером Петька стал укладываться спать.

Постель была мягкая. После хорошего обеда и тюремной койки спалось поневоле прекрасно. Наутро Петьку разбудил сам ротмистр. Лицо его было еще культурнее вчерашнего. В руках он держал протокол, который Петька отказался подписать. Ротмистр держал его с таким видом, словно проситель готовится подать ходатайство губернатору.

— Простите за беспокойство! Меня до глубины души огорчил ваш отказ.

— Боже мой, это же невыносимо,—вы меня все время допрашиваете!

— Я с вами корректен.

— Мы с вами вели частный разговор.

— Хорошенький разговорчик в стенах жандармского управления. Элементарная порядочность и культурность требуют того, чтобы вы подписали. Или вы должны были молчать, или обязаны подписать все, что тут застенографировано с ваших же слов. Я понимаю, если бы мы вас заставляли подписать что-нибудь такое, чего вы не говорили.... Полно вам! Подпишите и впредь с жандармами не разговаривайте. А мне это нужно по службе. Я обещаю вам, что дальше моего портфеля ваши показания никуда не пойдут. Но я тоже человек, да еще на казенной службе. Поэтому, если не подпишете, придется принять по отношению к вам такие меры, о которых вы даже и не мечтаете. При этом вы будете переданы в руки грубых и беспощадных людей, а меня больше не увидите. Подпишите вашу правду, в ней, ей-богу, ничего нет особенного.

— Дайте, я прочту.

— Извольте.

— А вы меня освободите, если подпишу?

— Непременно! Ведь мы выяснили, что вы действительно к организации никакого причастия не имеете. Ваш арест— сплошная ошибка, вытекающая из невежественности наших агентов.

— Мне кажется, что в моих словах есть немного предательства... Выходит, что меня бойкотирует организация, а в организации этой Абрам и Сергей, потому что про них сказано, что и они меня бойкотируют.

— Мы на таких умозаключениях обвинения не строим. А потом я ведь вам обещал, что дальше моего портфеля ваши показания никуда не пойдут. Ваша подпись—только проформа, чтобы скорее вас освободить.

— Нет, я не могу подписать: там есть много предательства.

— Не желаете? Как угодно. Имею честь кланяться. Долго не видеть вам свободы.

— Послушайте... А если... У вас есть ордер на мое освобождение? У меня на воле невеста...

— Как же, как же, знаю: Настасья Ивановна Зарядьина, черненькая, прекрасно сложена, видимо—добрая...

— Откуда вы это знаете?

Петька растерялся окончательно.

— Вот видите, мы знаем. Поэтому-то мне лично и хотелось бы вас не задерживать в тюрьме неповинно и зря. Но формальности, формальности...

— Покажите мне ордер на освобождение.

— Поздравляю вас! Вы мне не верите? Этот ордер я напишу на любом клочке бумаги, потому что освобождение зависит от меня. Извольте, не будем время терять. Вы пили уже кофе?

— Нет еще.

— Ах, лентяи!

Ротмистр открыл дверь и крикнул унтеру:

— Скажи постовому, чтобы принес кофе господину... Да поскорее, лодыри!

Петька тем временем трясущейся рукой подписал.

— Благодарю вас! Я могу вас сегодня освободить, если желаете, но боюсь, что ваши товарищи, Сергей, Абрам, Репьев и прочие, пожалуй, станут вас подозревать в нехороших делах. Им покажется странным, что вас так скоро освободили. Поэтому мой совет—подождите недельки три. Но, впрочем, как хотите, дело ваше. Если вы не боитесь подозрений на вас—прикажите: я напишу ордер на освобождение хотя сейчас. Мой совет как опытного человека—посидеть немного. Мы пустим к вам на свидание вашу невесту, разрешим передачу, даже переписку с невестой, если только вы будете держать в секрете от ваших товарищей, опять-таки из тех же соображений, о которых я вам намекал.

— А долго ли сидеть-то?

— Зависит от вас. Дело всей этой компании кончится, думаю, недели через три-четыре. Я бы думал так: мы устроим вам через две недели еще вызов сюда. Вы скажете вашим сокамерникам, что едете на допрос. Погостите у нас, пригласим к вам невесту, и потом, спустя еще дня три, освободим. Это самый лучший план.

— А вы знаете, господин ротмистр, что меня уволили с того места, где я работал?

— Да. Но уж тут я бессилен... Итак, до свиданья—через две недели, и потом освобождение. Только в ваших же кровных, жизненных интересах—никому из ваших, и даже вашей невесте, ни гугу о том, что вы у нас на особом положении.

Ротмистр показал Петьке свой лысеющий пробор и скрылся.

Петька рухнулся на кровать, повторяя про себя в смутном ужасе: „На особом положении!" Но внесли горячий вкусный кофе, румяные, мукой обсыпанные калачи.

Седой неуклюжий вестовой, принесший это, был добр, как дедушка. А в сердце, в растленное сердце вклещились черные, нагло-зеленоглазые кошки, все они похожи на ротмистра, на ротмистра Кошко.

Кошко вел две записи изо дня в день: одну, краткую—для себя, другую—для департамента полиции. Департаменту полиции он писал про Петьку:

> „Повидимому, скоро будет завербован. Мне удалось получить от него такие показания, которые подтверждают правильность наших агентурных сведений, а именно: „Сергей" по приезде вошел в организацию, организация и ее комитет восстановлены, к работе привлечены и Абрам, известный вам по предыдущей переписке, и Репьев, и Перов. При помощи показаний, которые мне удалось добыть от Петра Сырова, мы его заставим войти в связь с организацией и давать нам информацию о ее работе".

У себя же, в маленькой клеенчатой записной книжке, отметил:

„Я думал, что Петька умнее и будет дольше сопротивляться, а он повалился в мои руки, как водянистый кисель с опрокинутой тарелки. Сознательный „фармацевт“ тоже...“

ГЛАВА V

ТИПУН

К тому же Кошко был приглашен на допрос Перов. Этот вошел шумно. Вращал глазами, плечами делал какие-то движения, словно на них грязь налипла.

— Что еще вам?—спросил он ротмистра.

— Садитесь. У вас много детей?

— Не ваше дело!

— Мне это нужно для сведений.

— А я говорю—не ваше дело!

— Если вы в таком духе будете со мной разговаривать, я попрошу вас вывести.

— Это будет самым лучшим,—и встал.

— Ну, ну, успокойтесь, садитесь,—мягко сказал Кошко.

— Я спокоен, как блин. Может быть, вам валерианки?

— Ну-с, начнем допрос. Предупреждаю вас, что нам от вас нужна только правда. Вы, я вижу, человек храбрый и практический. Если у вас хватит гражданского мужества рассказать всю правду про вашу организацию, про ее личный состав, про ее связи и средства, тогда вы немедленно отсюда же пойдете на свободу. Если же вы будете лгать, упираться, врать и так далее, то останетесь надолго в тюрьме. Тем временем ваши дети успеют пойти по-миру с сумой или перемрут с голода в ожидании своего отца, который так мало о них думает. Мой искренний человеческий совет вам поэтому, во-первых, отойти от этого дела

раз и навсегда, не связываться с верхоглядами, которым нечего терять. Вы должны в корне изменить свою жизнь, быть честным тружеником. И лично я, как человек, который сам перенес немало нужды, в этом вам помогу всемерно. Вы нам скажете, из кого состояла организация...

Во время этого монолога ротмистр не заметил, как под воротом рубашки Перова надуваются жилы, как его лицо темнеет, наливаясь черной кровью, и как под письменным столом обе сильные руки его сжимаются в кулаки. Не успел окончить ротмистр, как Перов с быстротою тигра схватил со стола хрустальную чернильницу и со всего размаха бросил ее в лицо ротмистру. Тот не успел даже крикнуть о помощи или нажать кнопку, а только отскочил в простенок между книжным шкафом и окном. Перов встал, плюнул ротмистру в лицо, сам открыл дверь, заорал:

— Эй вы, свистуновы, спасайте вашего начальника! Он осмелился пролетарию предложить быть провокатором!..— при этом Перов добавил еще одно известное ветвистое словцо.

Прибежали унтер и вахмистр. Из простенка вышел ротмистр. По синему мундиру его с белыми аксельбантами в три ручья стекали чернила, а с переносицы в рот—плевок Перова. Ротмистр был бледен, как бумага. Лицо его исказилось, и он едва слышно, придушенно шипел:

— В карцер, в карцер его, в карцер негодяя!..

— А я бы тебя, подлеца, не в карцер, а повесил бы! Я бы...

Унтер и вахмистр опытно заткнули рот Перову тряпками и отнесли бережно, как хрустальную вазу, в карцер, то есть в темный безоконный подвал.

В своем интимном дневнике ротмистр записал о Перове: „Типун бы тебе...“ Дальше ему не хотелось ничего писать.

Сергею в тюрьме жилось не скучно. В камере сидел он вместе с одним молодым эсером, обвинявшимся в покушении на жизнь прокурора. Фамилия юного террориста была Се-

ребрянников. По натуре это был веселый и озорной малый. У него откуда-то завелся нож, что арестанту иметь совсем не полагается.

Этот настоящий, хороший столовый нож Сергей и Серебрянников прятали в печку-голландку. Там вынимался один кирпичик. Они клали туда ножик и кирпич опять закладывали на место. Так что если ощупать печку, то не найти этого потайного кирпичика. Он только слегка шатался, как больной зуб. Но такое шатанье могла определить только чуткая рука арестанта, как больной зуб найдет только хороший дантист. Надзирателю не найти.

На озорство, Сергей и Серебрянников к вечерней и утренней поверке, когда начальство обходило тюрьму, приготовляли целую тарелку тонко нарезанных ломтей хлеба и сыра.

Начальство спрашивало:

— Где достаете нож?

— Нигде,—смеясь начальству в глаза, отвечали политики.

— А чем же вы режете?—громовым голосом вопрошал „старший“, огромного роста, с лицом ломовой лошади.

— Ниточкой,—язвительно отвечал ему Серебрянников.

Однажды старший решил проверить, можно ли в самом деле ниточкой так нарезать хлеб. Он пыхтел, потел—хлеб не резался. Серебрянников тоже (давя в горле хохот) потрудился немало, чтобы доказать недоказуемое. Старший решил внимательно следить за озорниками и то-и-дело сам посматривал тихонько в прозурку камерной двери. Но легче спящей девушке косу отрезать, чем обмануть чуткость человека, взятого в плен. На следующей поверке начальство опять обозревало изящно нарезанные ломти и со злобой дивилось тюремному чуду.

Перов сидел как раз под камерой Сергея. Между камерами была непрерывная связь, устроенная Серебрянниковым: он изловчился и опустил из своего окна в окно камеры Перова темную, незаметную на стене нитку, к которой по мере надобности привязывалась маленькая записочка либо

от Перова к Сергею, либо обратно. Если Перову нужно было, чтобы Сергей поднял нитку вверх, Перов осторожно стучал в потолок половой щеткой. Тогда Сергей или Серебрянников тянули нитку вверх и получали записку. При обратном движении корреспонденции сверху стучали Перову, и тот тянул нитку вниз. А нитка была устроена по принципу непрерывного вращения, как трансмиссия, на катушках.

Перов долго не возвращался с допроса. О нем стали сильно беспокоиться. Только через две недели Сергей и Серебрянников учуяли снизу осторожный стук щеткой. Быстро подняли нитку.

Перов писал:

„Жандармы меня мучили, предлагали провокацию, сам Кошко, конечно. Я ему в харец шандарахнул чем-то да еще наблевал в мурло,—дескать, вот тебе медаль от пролетария. За то меня все дни держали в карцере, кормили селедкой и не давали пить, два раза по ночам пугали, будто вешать ведут. Я их, конечно, крыл с высокой полки, но имейте, ребята, в виду, что эта сволочь добивается кого-то из нас сделать предателем. Предлагаю товарищам на допросах отказываться отвечать вовсе, все равно каждому обеспечена Архангелка или Нарым. Как чувствуешь себя, Сергей? Ходит ли к тебе кто на свиданку? Неужто все время один без передачи? Твой Перов“.

Посредством перестукивания через полчаса вся политическая тюрьма знала, что жандармы предлагают провокацию, что прибегают к утонченным пыткам.

Следующим на допрос пошел Репьев.

Сергей и Серебрянников слышали его приятный, бархатный баритон из коридора, снизу:

— Я пешком не пойду... А что, прислали лошадь или эту собачью клетушку для арестантов? Можно вас просить, господин помощник, если придет жена, передайте ей, что я в гостях у жандармов...

Репьев говорил неторопливо, по-барски. Сергей так и представлял себе всю его фигуру: молодецкий высокий рост, благородная осанка, немного выдающийся вперед подбородок, горбатый нос, гладко выбритые щеки, умные, немного презрительные зеленые глаза, высокий лоб и удивительно красивые руки, белые, холеные.

Значит, и до Репьева очередь дошла.

Репьев вошел в кабинет Кошко непринужденно, как истинно светский человек. Поклонился. На пригласительный жест мягко опустился в кресло. Предложили закурить. Закурил. Кошко посмотрел на него пристально. Молчали.

— Вы уже однажды привлекались?—спросил наконец ротмистр.

— Совершенно верно.

— За принадлежность к Российской социал-демократической рабочей партии, поставившей себе целью ниспровержение существующего в России строя. Причем вы обвинялись в том, что примыкали к левому, большевистскому крылу названной мною организации.

— Да, все это в обвинении, а затем и в приговоре так и было формулировано.

— А вы отрицаете свою принадлежность?

— Я не принадлежу ни к какой революционной партии.

— Мне известно, что у вас у всех есть правило, прием— отрицать свою принадлежность, ибо таковая карается согласно сто второй статье каторжными работами, либо, как минимум, вечным поселением.

— Я в самом деле не принадлежу...

— Вы находитесь в связи с нелегально приехавшим в Россию из-за границы Сергеем. Вы находитесь также в связи с рабочими Перовым, Абрамом и другими. Вместе с

ними вы составляете комитет социал-демократической партии, фракции большевиков.

— Блажен, кто верует, тепло ему на свете,—независимо ответил Репьев.

— Вы это про кого?—искренно не понял Кошко.

— Про вас: ведь вы всему перечисленному вами—верите.

— Простите, если бы я верил, я бы вас не допрашивал.

— Так я уже вам сказал, что все ваши сведения—ерунда на постном масле!

— Господин Репьев, прошу вас выбирать выражения.

— Я именно это и делаю: специально выбираю нечто подходящее для учреждения, которое вы представляете.

— Вы будете лишены свидания с женой.

— Жаль, но ничего не поделаешь. Будем переписываться.

— И переписки лишу,—раздражался ротмистр.

— Ну, положим, без основания к тому вы не имеете права,—равнодушно, как бы про себя сказал Репьев и закурил вторую папиросу, заложив ногу на ногу.

— Скажите, сколько раз вы виделись с Абрамом?

— Дайте пожалуйста мне лист бумаги, я все там напишу и избавлю себя и вас от ненужной комедии.

— Бумаги? Извольте. Что же вы собираетесь писать?

— А вот увидите.

Репьев пододвинул себе большой лист бумаги, немного поморщил лоб, снял с пера волосок, сдул пыль и пепел со стола, чтоб не запачкать локоть, и размашисто написал:

„Отвечать на какие бы то ни было вопросы господина ротмистра (в этом месте он поднял свои зеленые большие глаза и спросил: „Как ваша фамилия?“—„Это еще вам зачем?“—встрепенулся ротмистр, вскочил и обошел стол, чтоб прочитать, что пишет допрашиваемый. А тот тем временем ответил: „Ну, все равно“) отказываюсь вовсе. Мог бы отвечать лишь на публичном суде. Алексей Репьев“.

— Это безобразие!—ротмистр вырвал из-под рук Репьева написанный им лист.—Это неслыханно, нагло, неприлично! Как вы смеете?

— Мое неотъемлемое право.

— Почему же на суде вы соглашаетесь отвечать, а здесь—нет? Ведь суд тоже, собственно говоря, мы.

— Это верно. Но там не делают подлых предложений стать провокатором и не заманивают людей на опасный путь сначала невинного, а потом и серьезного предательства.

— Ах, молодой человек, в каком вы заблуждении, как мне от души вас жалко! Я готов вашему отцу, которого мы все уважаем, написать письмо о вас. Посмотрите на себя: статный, высокий, красивый барин, породистый дворянин, способный человек, вероятно в будущем ученый с крупным именем, который мог бы человечеству дать не одно открытие, который расширил бы горизонты мысли и знаний человека,—оказывается увлечен низкими людьми бог знает в какую трущобу. Ну, кто такой этот Абрам, несчастный портной, горизонт которого—штаны и пиджаки? Кто такой этот Малиновский, Перов, другие, даже этот Сергей-недоучка? Все они ногтя вашего не стоят. Вы, человек с родом и с самостоятельным именем, увязались с этими...

Говоря так, ротмистр расхаживал по комнате, но в этом месте вдруг остановился, потому что услышал тихое насвистывание арии из оп. Верди „Риголетто“ „Если красавица“...

— Вы что, вы что это?—недоуменно спросил он Репьева.

— Это аккомпанемент к вашей мелодекламации,—ответил невозмутимо тот.

Ротмистр на каблуке сделал „кругом марш“, открыл настежь дверь и крикнул:

— Вахмистр, отправьте арестованного обратно в тюрьму!

— Слушаюсь!—раздался из темноватого коридора сиплый услужливый голос.

Ротмистр отметил у себя: „Свистун“, а начальству рекомендовал отдать Репьева под надзор... родителей.

ГЛАВА VI

ИУДА

Через несколько дней перед тем же ротмистром предстал Малиновский.

Тоже человек немалого роста, гордый, орлиный вид, мутные глаза, немного веснушчатое лицо, кудри, красивая голова.

Допрос начался с обычных вопросов.

У Малиновского дрожала рука, когда он писал. Лицо его менялось то-и-дело от разных вопросов, которые ему ставили. В общем Малиновский, как и другие, отрицал свою принадлежность к какой бы то ни было „преступной" организации.

— А вот один из ваших товарищей предал вас всех. Мы знаем, что и вы входили в организацию, играли там видную роль и собирались даже ехать за границу... Не бледнейте.

Хотя Малиновский и не бледнел, но от этого „ободрения" и в самом деле побледнел. Ротмистр продолжал:

— По своем приезде Сергей виделся со всеми вами, а в первую голову с Абрамом—этим воодушевленным организатором. Ведь обо всех этих людях вы нам сами когда-то достаточно порассказали. Чего же вы теперь упираетесь?

— Нас никто не слушает?—встрепенулся Малиновский.

— Конечно, нет.

— Вы иногда стенографируете разговоры. Разрешите мне с вами обойти соседнее помещение.

— Рради бога!—ротмистр щелкнул шпорами, и они пошли.

В темном коридоре ротмистр близко подошел к Малиновскому и сказал ему:

— Не бойтесь! В вас мы видим серьезного друга и ничего плохого не сделаем.

— Но имейте в виду, что наша дружба не должна быть основана на предательстве: я предавать никого из моих товарищей не намерен.

Малиновский бледнел все больше и больше.

— Помилуйте, мы этого не требуем и не можем требовать. Нам важно, чтобы вы осветили нам лишь деятельность организации, время ее возникновения, политический характер и размеры ее влияния, рабочая или интеллигентская.

— Только это и могу, а больше... больше ничего не спрашивайте. Почему я так поступаю?..

— Да это неважно... (Они возвратились в кабинет.)

— Нет, важно. Я, как уже вам говорил, не верю, не верю и в эти их дела, но в каждого в отдельности, в его искренние стремления, в его преданность идее, наконец в его веру—я верю и потому ни одного имени не назову.

— И прекрасно! Скажу вам по секрету, что имена участников нам сообщает один из тех ваших товарищей, которого вы считаете наиболее преданным и наиболее верным.

Малиновский совсем скис с лица, сжался весь в кресле и, пряча дрожащие руки в карманы, спросил:

— Кто же этот негодяй?

— Разрешите не называть фамилий, мы тоже не хотим предавать... Он рассказал полностью о составе вашей организации, о том, как вы собирались ставить типографию, как подыскивали для этого людей...

Дрожь начала пробегать по спине Малиновского. Он покачал головой и, как бы про себя:

— Цену показаний этого вашего... я могу взвесить только тогда, когда вы мне назовете его. Может быть, вы сведения эти добыли от филеров.

— Если вы настаиваете—извольте, вам скажу, но только под условием—никому ни слова... А впрочем, дело ваше: с предателями и в самом деле надо расправляться. Фамилия его Перов.

Малиновский так заволновался, что чувствовал горлом биение своего сердца.

— Не может быть! Дайте мне его показания.

— Ну, уж это извините! Верьте или не верьте—дело ваше. Вся ваша только что возникшая организация—у нас, как на ладони.

Малиновский совсем смялся. Глаза его, уж не орлиные, а совиные, круглые, пустые, устремились в одну точку, на аксельбанты ротмистра, на грудь, которая дышала так спокойно, почти величественно. И что, в сущности, нужно человеку, как вот не такое спокойное, почти младенчески-чистое дыхание? Больше ничего не надо. Этакое спокойствие—самое важное в жизни, которая, вдобавок ко всем прочим неприятностям, так чертовски коротка. Как же выйти из беспокойной жизни, из этих, отуманивающих голову Малиновского споров, из вечного дрожания, из боязни, что кто-то предаст тебя? И потом самое тяжелое—это вот когда, как сейчас, узнаешь, что самый, казалось бы, надежный и верный не только товарищ, но даже друг оказывается предателем. Нет, это почти невозможно снести! Рука сама найдет револьвер и висок. Тяжко! Во что бы то ни стало—вон из этого мрака! Революция—стихия, притти—так сама придет. И уж во всяком случае не кружковые крысы станут ее руководителями... Такого рода мысли пронеслись в перепуганной голове Малиновского и, как апокалиптический звериный знак над всем этим огненными буквами проносилось: „Перов, Перов, Перов!“ Кому же после этого верить? Да и в самом деле, что-то подозрительное рассказывал сам Перов. Он, и верно, говорил, что ему предлагали провокаторство, но что он будто бы ответил нето оплеухой, нето чем-то в этом роде. Подозрительно и не похоже это на правду...

Ротмистр успел выкурить вторую папиросу, пока Малиновский, подавленный всем слышанным, сидел и думал, стараясь найти свое место среди тех, кого он раньше

считал товарищами, кому он раньше так беззаветно верил, с которыми он мнил себя связанным кровью и железом.

— Знаю, вам трудно,—сказал ротмистр,—я вполне понимаю вас. Не будем продолжать допроса. Отправляйтесь обратно в свою камеру. Обдумайте все наилучшим образом, и когда придете к решению, к окончательному решению открыть нам истинный характер деятельности комитетов и кружков, о которых вам хоть что-нибудь известно, тогда дайте мне знать. Сделайте это таким образом: вызовите к себе старшего помощника тюрьмы и дайте ему заявление, что просите вас вызвать на допрос.

— Нет, нет, я ничего писать не буду!

— Ну что ж, это, пожалуй, только благоразумно с вашей стороны. В таком случае вам достаточно будет сказать помощнику начальника тюрьмы, что вы хотели бы „делового свидания“. Так и скажите. Эта формула ему известна, чтоб ни надзиратель, никто другой не понял бы, в чем дело. Вы в одиночке или в общей?

— Я с Абрамом и с Петром.

Ротмистр быстро что-то отметил в своем блокноте.

— Хорошо. Через три дня мы вас рассадим каждого по одиночке, а заодно и еще пару-другую разредим,—вам будет удобнее сноситься с ними из одиночки.

Малиновский встал и двинулся к двери.

Ротмистр взял его под локоть, и они в ногу сделали несколько шагов по мягкому ковру. Тем временем ротмистр опять внятно шепнул ему:

— Имейте в виду, что на ваше имя в Азовско-донском банке лежит пять тысяч...

Малиновский остановился, как вкопанный, и инстинктивно, чтоб не упасть, хватился за плечо ротмистра, прошептал глухо, словно во рту у него была кровяная харкота:

— Не смейте этого! Я не приму...

— Как хотите. Счет в вашем распоряжении.

Малиновский покраснел, как маков цвет, когда захлопнулась за ним дверь кабинета Кошко.

В камеру пришел он бледный и расстроенный. С возмущением говорил, как его на допросе пытали. О Перове он умолчал.

Через неделю их разъединили. Через две недели Малиновский вызвался к ротмистру. Он добросовестно и по всей правде рассказал все, что знал о деятельности организации, назвал даже главных ее участников.

В своем интимном дневнике ротмистр записал про Малиновского:

„Являет пример того, как трусость подавляет здравый рассудок“.

А официально доносил:

„В лице Малиновского мы приобрели постоянного и крупного сотрудника. Для маскировки, однако, его придется выслать, хотя бы недалеко...“

ГЛАВА VII

ПЛОХОЙ СОН

Сергей плохо спал. Его мучила черная, тяжелая кровь. Ему представлялся Париж и рыжая головка, и в особенности та брюнетка, грешная Кармен. Она всю ночь его обнимала, а как стало рассветать, черная Кармен превратилась в Катю Свинцицкую. Она слезно каялась, что не отвечала ему взаимностью, что предпочла ему Репьева, что, в сущности, Сергей в сравнении с Репьевым чистейший и достойнейший человек. И вот Катя, она же француженка Флера, теперь пришла к нему. „Кончено все старое, начнем новую жизнь“,—говорила она ему, нежно называла Сережей и звуками голоса рвала ему сердце на куски, как красную тряпку. Над всем этим звучала какая-то музыка... Тело Сергея горело, он проснулся.

Темная камера молчит. Даже сапа Серебрянникова не слышно. Может быть, и ему такие же молодые грешные сны рвут ночной покой?.. Опять Сергей закрывал глаза, ворочался на железной койке и с жадностью засыпал, чтоб утонуть в женской—катиной или этой брюнетки, все равно, лишь бы в женской мягкости, в женских белых руках на груди. Засыпал. Вместо образов Флеры, Кати, брюнетки вырастало в голове что-то мохнатое, угрожающее, дразнящее... Опять просыпался Сергей и опять стремительно бросался в сон, ища воспаленным предутренним воображением женские упоительные соски, искал, алкал их, как ребенок.

Утром Серебрянников сказал Сергею, что он, Серебрянников не спал, потому что вырабатывал план побега из тюрьмы. После этого Сергею уже невмоготу было рассказывать про свои постыдные сны. Он почувствовал себя вдруг жутко одиноким. Однако искренно обрадовался плану Серебрянникова и даже не утерпел, еще ничего не видя, предложить ему не забыть зайти к Кате Свинцицкой.

Серебрянников расхохотался.

— А впрочем, если она недурна,—отчего же...

— Недурна-то недурна, да уж очень святая, тихая.

— Тут-то самый грех и есть, в таком омуте черти водятся. Дай мне ее адрес,—может быть, она меня укроет на ночь, другую.

— Несомненно.

Сергей говорил так, будто Катя была его жена и будто он направляет приятеля к любимой, близкой ему телом и душой женщине. Он сам перед собой фантазировал и гордился фантазиями. В этот день приятели особенно деликатными кусочками нарезали хлеб. Сергей опять фантазировал, представлял себе, что это о н а угощает их и каждый кусочек побывал в ее милых руках.

В это прекрасное утро открылась камера, и надзиратель вульгарным голосом возгласил:

— Сергей Захаров! Со всеми вещами приготовьсь...

Значит, или освобождение или перевод в другую тюрьму или же в другую камеру.

— Как же так? А побег твой?..

— Труднее будет без тебя,—сказал Серебрянников.— Если сможешь, дай мне знать, где ты будешь.

Сергею некогда было приготовлять вещи: они подробно обо всем уславливались, Сергей завещал приятелю хранить нож.

— Я из него пилку сделаю решотку пилить. Мне только надо бы побольше масла и мыла, главное—мыло, чтобы пролезть, а то много-то не перепилишь... хотя бы одну, мне достаточно, я худенький, намажусь мылом... Жалко! Эх, как жалко! Мы так сдружились с тобой... Не забывай Серебрянникова.

— Что ты! Никогда в жизни! У тебя есть невеста на воле?

— Нет, я один. Невесты, брат, нас не понимают. Партийки—не бабы, а бабы—не партийки.

— Ну, не скажи.

— Значит, у тебя есть невеста?

— Нет, я тоже один.

Приятели чуть-чуть прослезились, крепко обняли друг друга и едва успели сказать один другому: „Ну что ж, гора с горой не сходится, а человек с человеком...“—как были разъединены надзирателем.

Прежде всего Сергея привезли на допрос к тому же ротмистру Кошко. Ротмистр был не один: с ним сидел другой, которого Сергей сразу узнал. А между тем он его допрашивал еще до границы, по прежнему делу. При появлении Сергея оба ротмистра почтительно приподнялись и поклонились.

— Здравствуйте, так называемый Захаров...

— Здравствуйте,—ответил Сергей, будто не поняв намека.

— Он или нет?—спросил Кошко своего ассистента, нарочно громко, чтоб слышал Сергей.

— Безусловно—он. Дайте-ка карточку.

Кошко передал другому ротмистру карточку Сергея того времени, когда Сергей привлекался в первый раз.

— Вам не знаком этот человек?—спросили ротмистры в два голоса.

— Нет,—твердо, чуть-чуть озорно ответил Сергей.— А что это за тип?

— Про этого „типа“ вы нам лучше расскажете, чем мы вам. Я извиняюсь за слово „тип“, но вы первый его употребили. Не правда ли, как он похож на вас? У вас волосы торчком сзади—и у него, у вас взгляд исподлобья—и у него. Глаза, нос, все—удивительное сходство!

Сергей решил, что если уж он открыт, то не стоит времени терять на дальнейшее запирательство.

— Это—я,—сказал он.

— Значит, вы не Захаров, а Стальнов?

— Совершенно правильно.

— Вы были за границей?

— Нет,—в этом пункте Сергей решил упираться, ибо посредством его жандармам удалось бы доказать принадлежность Сергея к партии. Сергей предположил, что у жандармов не может быть доказательств его пребывания за границей.

— Неправда,—сказал Кошко.—Вы были в Льеже, в Париже. Вот, например, ваши письма вашей матери, они со штампом—Льеж и с адресом—„рю Теникс, тридцать один“.

— Это ничего не значит,—просто и настойчиво отвечал Сергей,—ведь я был нелегальный. Жил, предположим, в Козьмодемьянске и переписывался даже с матерью через Льеж, из конспиративных соображений.

— Ого-го-го!—завздыхал Кошко.—Вы полагаете, что видите перед собой дураков. Может быть, вы еще осмелитесь сказать, что вы и к организации РСДРП не принадлежите? И не видались по приезде со здешними комитетчиками— Абрамом, Малиновским и другими?

— Первый раз слышу такие имена и к организации не принадлежал.

— И в музей к Малиновскому на свидание не ходили?

— Не мог, потому что не знаю никакого Малиновского.

— А Петра Сырова тоже не посещали и не приглашали его в организацию?

— Впервые слышу названное вами имя.

— А у рабочего Перова тоже не были?

— Не знаком с таковым. Не знаю, кто он такой.

— Какая странность! Он, представьте, говорит, что вас знает, что вы у него были. От него мы, между прочим, узнали и число, когда вы вернулись из-за границы. Вообще, молодой человек, нечего вам запираться. Перов—человек прямой и правдивый, он все нам преподнес, как на ладошке, а вы упираетесь до смешного.

Сергей не менял своего равнодушного выражения лица.

— Кроме того, что я вам уже сказал, ничего прибавить не имею,—отрезал он.

— А не вам ли комитет поручил типографию ставить? Не вы ли входили в техническую группу?

— Я считаю бесполезным дальнейшие разговоры на подобные темы. Я ничего общего не имею с организацией, о которой вы беспокоитесь.

Тогда другой ротмистр произнес:

— Мы господина „Захарова“ знаем, он человек упрямый, как Тарас Бульба, это было видно из допросов по первому делу. Он и тогда утверждал, что невинен, как новорожденный.

Кошко заходил по кабинету.

— Оно и понятно,—говорил он, как бы размышляя сам с собой,—ведь у них, у революционеров, интереснейшая жизнь. Подумать только, сколько опасностей, сколько переживаний! Удрать от шпика, провести за нос провокатора, под носом у жандармского управления поставить нелегальную типографию, разбросать прокламации, удрать из тюрь-

мы или из ссылки, нелегально перейти границу... Да ей же ей, я бы сам с удовольствием бросил нашу бюрократическую работу и пустился бы в их жизнь, полную опасностей и интересных приключений. Они, в особенности молодые, не откажутся от этой жизни, как бы мы их ни преследовали. Поэтому моим лозунгом уже давно стало—по возможности не преследовать людей, а только пресекать деятельность организации. Поэтому, если бы даже, ну, скажем, хоть вы, господин Захаров, если бы вы сказали правду только о себе... да что там сказать!.. хотя бы подтвердили то, что другие про вас говорят, например тот же Перов,—только, повторяю, о себе,—то, клянусь вам, мы бы вас пальцем не тронули, мы бы вас освободили. Конечно, немного замаскировав это от других... Вы понимаете, чтобы...

— Позвольте мне выйти отсюда,—мрачно сказал Сергей.

— Вы на допросе.

— Так потрудитесь задавать вопросы, а не...

— Сбавьте, сбавьте тон,—вмешался другой ротмистр.— Вы ведь не на комитетском собрании в конце концов.

— Не раздражайтесь и вы, коллега,—мягко сказал ему Кошко в тоне арбитра.

Сергей резко встал и направился к дверям.

Кошко—ему вслед:

— В таком случае вот вам бумага. Сядьте и напишите, что хотите, если вам не жаль ни своей жизни, ни сил и жизни ваших родителей, вашей всей семьи.

Сергей вернулся к столу, сел и написал на бумаге:

„Настоящим заявляю, что я, такой-то, отказываюсь от каких бы то ни было показаний, потому что решительно ни в чем виновным себя не признаю".

— Хорошо! Оооччень хорроошо!—угрожающе-тихо цедил Кошко...

Сергея сначала оставили в камере при жандармском управлении, а потом перевели в пересыльную тюрьму.

О Сергее ротмистр у себя записал: „Враг“, а департаменту полиции доносил:

„Предлагаю сослать в отдаленные губернии Сибири или Архангельскую. Требует особо бдительного надзора как склонный к побегу“.

В этот день Сергей написал письма домой и Званову, который все еще был в ссылке, и наконец Черному, в Швейцарию. Ему еще и еще хотелось писать, потому что он переполнен был впечатлениями допроса, и хотелось кому-то все это рассказать, тем более, что он привык беседовать с Серебрянниковым. А тут вдруг—один. Он ходил, курил, писал, вспоминал что-то, волновался немного тем новым, что ему предстоит, куда-то его сошлют, и уже заранее рисовал себе планы побега. Прожить мирно в ссылке, как делают другие, обзавестись хозяйством, может быть—женой... Нет, не бывать тому! Лучше сухой песок, пыль дороги, птицы в небе, вольность в сердце и все свое, самое дорогое и сильное отдать на борьбу, на бой с врагами человечества! Говорят, что жизнь—борьба. Но этого мало,—потому что для многих это означает борьбу за себя, за свой самовар. Сергей исповедывал другое: жизнь—война против всех эксплоататоров. Впрочем, в мотивах его предполагаемого бегства было и другое, чего он, может быть, и сам в себе не подозревал,—это никак не выраженное в сознании детское стремление удивить других чем-нибудь особенным. И так как у него был прямо-таки избыток неистраченных, неиспорченных физических сил, то вот они-то и были у него капиталом, коим он мог блеснуть.

Вместе с планами побега, которые теснились в его взволнованной голове, в его внутреннем мире росло нетерпение—скорее бы уж хоть на самый далекий север, лишь бы очутиться прямо под небом! И тут начинались к планам примешиваться мечтания? Сергей напишет письмо Кате, она вдруг воспылает к нему несказанно нежной любовью и приедет, бросив все, и в дальнейшем, на баррикадах неравной герои-

ческой борьбы они будут уже оба рука с рукой до самой смерти. Сергей читал и перечитывал, как к Чернышевскому приехала в ссылку жена.

Неизвестно, долго ли продолжались бы мечтания и фантазии Сергея, но на пятый день его опять вызвали на допрос, и не к жандармам, а к прокурору. Тут только Сергею стала известна ужасная участь Серебрянникова. Он перепилил решотку, намылился, сделал „кошку" из подштанников, изодранных в тесемки, которые он сплел в веревку, и на конце из гвоздя сделал крючок, просунул свое намыленное и намасленное тело в подпиленную часть решотки, предварительно выгнув подпиленные части по направлению своего движения, и по „кошке" спустился с третьего этажа во двор, держа в руке узелок с одеждой. Спустившись во двор и дрожа от холода,—дело было зимой и глубокой ночью,—Серебрянников оделся. Другую „кошку", которая была с ним, он стал забрасывать на высокую каменную стену тюремного двора, которая выходила в глухую улицу. Серебрянников знал, что часовой каждые четверть часа обходит тюремный двор, поэтому всю операцию—выпрыгивание из окна, одевание, а затем перелезание через стену нужно было закончить в течение десяти минут, от обхода до обхода часового. Наверху тюремной стены была покатая железная крыша. Между ее карнизом, выходящим на улицу, и самой стеной намерзало много льда и снега. Поэтому крючок „кошки", сделанный из гвоздя, все время срывался. Раз десять закидывал Серебрянников. Два раза зацепил было, но едва он полез, как гвоздь сорвался с ледяного нароста. Серебрянников упал в снег. Время истекло. Пошел часовой. Серебрянников юркнул в сугроб. Но часовой немедленно же обнаружил следы на снегу, ведущие сначала к стене, а потом к сугробу. Часовой дал выстрел по сугробу, ранил Серебрянникова в плечо. Беглец вылез из сугроба и, шатаясь от усталости, от волнения, от раны, сдался. Его немилосердно избили рукоятками револьверов, заковали в ножные

и ручные кандалы и отправили в больницу, так как на другой же день Серебрянников почувствовал повышение температуры. Началось воспаление легких.

Прокурор серым тоном допрашивал Сергея, не знает ли он что-нибудь по этому делу, так как сидел несколько месяцев в одной с Серебрянниковым камере. Интересовался, откуда Серебрянников достал пилку для решетки, как выработал план побега и с кем он был связан на воле. Сергей в соответствующих серых тонах показал, что о своем намерении Серебрянников никогда с ним, Сергеем, не делился и поэтому Сергей никак прокурору полезен быть не может.

На том и кончилось. Но Сергей решил во что бы то ни стало снестись с Серебрянниковым и, главное, сообщить на волю о происшедшем. Поэтому он попросил прокурора разрешить написать несколько дружеских слов больному Серебрянникову. Прокурор разрешил. Тем временем Сергей написал два письма: одно—Серебрянникову, а другое—на волю товарищам. Когда его везли в закрытой коляске, Сергей незаметно для жандармов выбросил письмо на мостовую. Кто-нибудь, добрая душа, найдет и перешлет, авось. Вся надежда—на авось...

ГЛАВА VIII

ПЕССИМИСТ И ОПТИМИСТ

В жандармском управлении все писцы как-то почувствовали себя неловко, словно пойманные карточные шулера, когда, громко и отчетливо разговаривая и гулко стуча своими двумя клюшками, Абрам пришел на допрос к бледнолицему Кошко. Абрам по дороге начал сначала какой-то небольшой словесный скандальчик с вахмистром, а потом пустился в агитацию, утверждая, что очень скоро гнев народа опрокинется на это учреждение. Это дало повод вахмистру сказать какому-то писцу:

— Посмотрите-ка, инвалид-то, кажется, пьян...

Приподнятый тон Абрама даже ротмистра воодушевил,— тот при появлении Абрама протянул ему дружески руку. Абрам остановился, как вкопанный, и сказал:

— Вы с ума сошли! Вы—честному человеку—руку?

Кошко улыбнулся тонкими злыми губами. Губы его были всегда чуть-чуть синеватые. Говорили, что он их подкрашивает слегка.

— Эта рука,—сказал отчетливо ротмистр,—вовсе не к вашей направлялась, а приглашает вас сесть. Вы поспешили нанести мне незаслуженное оскорбление и позволили себе говорить со мной неподобающим тоном. Но отложим личные обиды одного и личную неуклюжесть другого—в сторону. Дело—прежде всего. Вы знаете, в чем вы обвиняетесь?

— Нет, не знаю, хотя сижу уж, слава богу, пятый месяц.

— Вы обвиняетесь в систематическом изнасиловании малолетних девочек.

— Господин ротмистр, я думал, что меня вызвали на допрос.

— Ага! Значит, вы приблизительно представляете себе, в чем вас могут обвинять. Ну что же, для первого раза и это хлеб. Вы обвиняетесь в принадлежности к РСДРП, к комитету этой партии.

— Отрицаю начисто. Это, видимо, голословные донесения ваших филеров.

— Вот видите, на это обвинение вы отвечаете по существу. Значит, вы допускаете возможность существования такого обвинения против вас и тем самым сознались в том, что при известных обстоятельствах могли бы заняться политическим преступлением. А раз могли бы вообще, то—как знать?—Может быть, вы им уже и занимались.

— Очень просто—почему. То, что вы именуете политическим преступлением, и есть деятельность, которая может входить в состав жизни любого порядочного, элементарно чест-

ного человека. А то, что вы мне раньше загнули,—просто безобразие.

— Благодарю, благодарю! Вот вы нам сделали и еще одно признание. Оказывается, политические преступления совершать—это не безобразие, это дело, достойное честных людей. Так и запишем... Скажите, вы давно знакомы с Сергеем?

— Не знаю такого.

— Ну? Неужели? А вот тут один из ваших... этот... как его?.. все забываю его фамилию... как его? Из главных он у вас там. Постойте...

Кошко стал рыться в бумагах.

— Ах, да вот, вот его показание. Он пишет следующее (Кошко прочитал показание Малиновского): „По приезде своем Сергей первым долгом отправился к Абраму, с которым было условлено о восстановлении организации и о привлечении в нее...“ Ну, тут идут имена, должно быть, хорошо вам известные. Пока не будем их называть. Что вы на это скажете?

— То, что вы мне прочитали, бессовестные враки какого-то против меня злопыхателя.

— А хотите, вам назову этого злопыхателя?

— Назовите.

— Перов.

— Вы... Вы...—нижняя губа у Абрама дрожала.—Вы лжете! Вот Перова я знаю—так знаю. Не отопрусь. Покажите мне его подпись. Вы мне ее не можете показать.

— А вот, не угодно ли, он дальше пишет...

— Да что вы, в самом деле, ко мне в душу с сапогами лезете? Вообще, как вам не стыдно постороннего человека вдруг пытать вопросами и непременно залезать к нему сапожищами в душу? Как вы, образованный человек, не понимаете, что ведь это в высшей степени стыдно? Посмотрите на себя в зеркало. Ведь вы должны краснеть за свою деятельность...

Кошко опять заулыбался одними только тонкими синеватыми губами, а зрачки его смотрели на Абрама, как зрачки собаки, делающей стойку.

Абрам неожиданно для себя воодушевился и пошел, и пошел, и пошел...

Когда он кончил, ему ротмистр подал воды. Тогда только Абрам почувствовал как будто неловкость. Но сказанного не вернешь. Абрама пригласили в камеру и через час подали на подпись стенограмму всего, им наговоренного.

Разумеется, Абрам швырнул в лицо вахмистру листки стенограммы так, что они разлетелись, как прокламации.

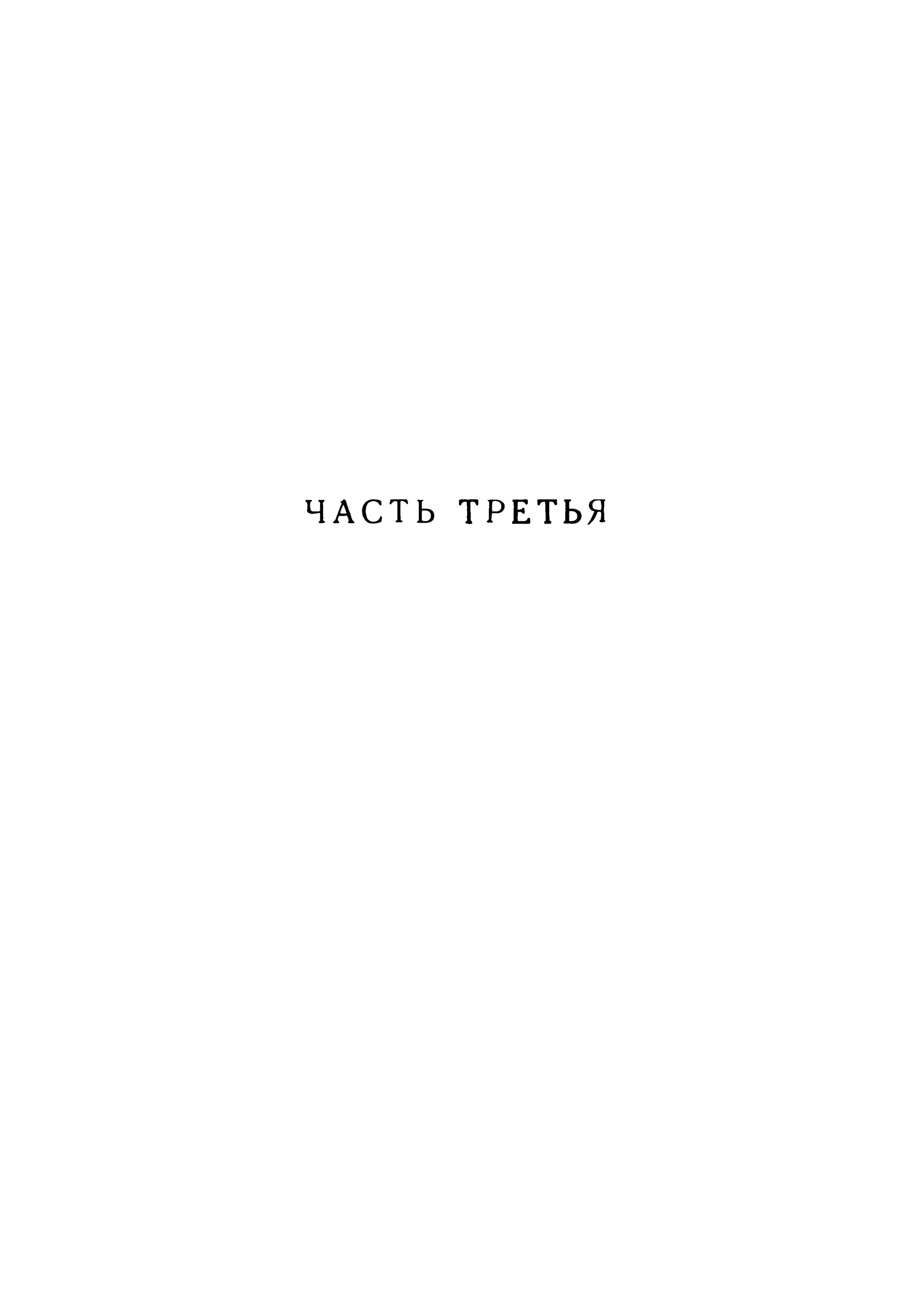
Кошко записал про Абрама:

„Честен, следовательно самый вредный".

А официально:

> „Предложил бы Абрама никуда не высылать, он страшно удобен для нас, так как именно вокруг него всегда вращаются революционные, в особенности социал-демократические элементы. Он—прекрасный след".

Сосланными в разные отдаленные губернии необъятной российской деспотии оказались Репьев, Перов, Сергей, Малиновский и некоторые другие. Очень немногие из организации остались на воле, среди них Абрам и Петр Сыров.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

МАРИЯ

В пересыльной тюрьме заброшенного среди снегов маленького губернского города процедура отправки арестантов была такая же, как во всех других российских тюрьмах. Вызывали „со всеми вещами“ в коридор, выстраивали тихо, торопясь, потом вели вниз, где ожидали другие группы арестантов. Начиналась проверка—перекличка. Названный должен был подойти к столу; спрашивали, какие на нем есть казенные вещи. Приказывали раздеться донага, развязать арестантские узлы, раскрыть дешевенькие скрипучие корзинки. Привычными руками надзиратель прощупывал все тело. Неприятно, щекотно, холодно, гадко. Проворными пальцами теребил он все вещи, раскидывая их как что-то вредное, недостойное человека. Потом скажет надзиратель: „Оденьсь!“ Каждый поспешно напихает, сомнет свое, может быть единственное в жизни, дорогое в мешок, сомнет свой стыд перед другими, которые смотрели на него, на все это и опять встанет в ряды себе подобных. Подойдет солдат конвойный и наденет „нарушники“—ручные кандалы.

Темным и морозным зимним утром, часа в четыре, вывели и Сергея. Под низким сводчатым потолком мигал огонек в закопченном стекле керосиновой лампешки. В дальнем углу был черный стол. За ним, как инквизиторы, сидели тюрем-

щики и конвойные; как коты на мышиную кровь, они облизывались, глядя на многоглазую арестантскую печаль и ненависть. У тюремщиков лица желтые, у конвойных—смуглые, у арестантов—серые. Лица тюремщиков и старших конвойных склонились над ведомостями, где записаны имена и приметы людей обреченных, как на картинах Гойя, картинах ужаса.

В первых рядах выстраивают каторжан, за ними идут так называемые „арестантские роты"—это по большей части бродяги, имена которых никто не может открыть, а они называют себя так, как хотят, и притворяются не помнящими ни рода, ни племени,—истинный вид мудрецов, которые встречаются только в России да на Аляске в Америке. За арестантскими ротами—воры, за ними—воришки, карманники, за ними—босяки, извечно пересылаемые „на родину", которая значится за ними только по полицейским ведомостям, но которой на самом деле нет. За босяками—„политические", и наконец—женщины. Политиков было всего-навсего: армянин Ваньянц, пересылаемый в Вологодскую губернию, и Сергей—в Архангельскую. Женщины почти все были проститутками, тоже гонимые „на родину", для того, чтоб они, придя туда, опять ее покинули ради искания счастья.

Арестанты, выстроенные и еще раз по списку проверенные, стояли, соблюдая гробовую тишину. Конвойные выполняли еще кое-какие формальности за инквизиторским столом. Слышались стальные взвизги: конвойные обнажали шашки и становились кольцом вокруг закованных и незакованных.

Сергей осмелился—оглянулся на гонимых грешниц. Среди потрепанных, профессионально улыбающихся полунамазанных лиц он заметил одно, со спокойными карими глазами, с черной родинкой на правой щеке. Скромно одетая в черное, она явно была не из „тех". Молодая, в глазах много любопытства. Им она заразила Сергея. Он спросил:

— За что?

— Я политическая,—ответила девушка.

— Эсдечка или эсерка?

— Эсдечка, большевичка.

— Рабочая?

— Увы, студентка, психоневрологичка.

— Ну, так будем знакомы. Я тоже политик и ваш однопартиец. А это вот Ваньянц, он закоренелый дашнак.

— Поедемте вместе...—громко заговорил Вазо.

Сергей пнул его коленкой, тот подавился словами.

— Мы пехтурой,—пояснил Сергей.—Но можно, конечно, попытаться...

— Конечно попытайтесь, попросите.

До вокзала итти предстояло шесть верст. Сергей знал, что на дровнях, которые, вероятно, стоят на тюремном дворе, поедут только женщины да больные, по свидетельству врача. Однако Сергей решил попытать счастья. Как раз конвойный проходил мимо.

— Господин старший,—не особенно громко, чтобы сохранить почтительность, сказал Сергей,—разрешите мне на санях ехать?

— Что у тебя?

— Ломота в ногах, болею,—чуть-чуть жалобно прихрипнул Сергей.

— С такими рожами не может быть ломоты нигде.

— Господин стар...

— Молчааа-аать!

— В поезде будем устраиваться вместе,—шепнула девушка по-хорошему.

Чей-то зычный заунывный голос отдал команду. Будто своды опрокинулись на головы. Керосиновая лампа замигала, как испуганная спросонья старуха.

— Каттааржанныы, вперед, ааршш!

Цепи лязгнули со стоном, заглушая арестантские шаги по асфальтовому полу. Дверь во двор распахнулась. Навстречу выходящим—белые кудрявые клубы мороза. Передние кряк-

нули. Кто-то закашлялся. Дрожь пала на всех. Колонна арестантов двинулась против белых клубов, как против удушливых газов, в морозную черноту двора.

С другого конца обширного тюремного двора неслась тормозящая команда:

— Маааать твою, стой!

Серая колонна остановилась во дворе.

Сергей посмотрел на небо. Оно было ясно и мигало земле мириадами своих светлых миров. Млечный путь—как рассыпанные бусы на темной бархатной груди.

— Юпитер справа, видите, он над колокольней мигает?— шепнула девушка, глухо от мороза.

Сергей стал искать на небе Юпитер. Но он был за колокольней. Глаза Сергея нащупали зеленоватую, с вечно изменчивыми отливами света Венеру.

Конвойные по запискам врача вызывали тех, кто имел право сесть, вернее—лечь на дровни, запряженные рыжими малорослыми вятскими клячами. Надзиратель светил фонарем старшему, у которого мерзли руки даже в рукавицах. Он неуклюже возился с записочками, они то-и-дело выскальзывали из плохо сгибающихся пальцев и падали в снег. У старшего не хватало силы воли морозить руки.

— А ну их к матери!.. Пускай идут.

Послышались глухие голоса, как из загробного мира:

— А я, господин старший?

— А я?

— У меня была записка.

— И у меня...

— А мы, женщины?—привычно взвизгнули бабы.

— Бабы—на санки!—решительно скомандовал помощник старшего.

Женщины беспорядочно ринулись куда-то в темноту. Их напор сдерживали прикладами винтовок. Послышались всхлипывания. Один конвойный заметил девушку-большевичку.

— А ты что, Маруська, не бежишь к саням?

Солдаты и арестанты почему-то всех женщин зовут „Маруськами“.

— Откуда вы знаете мое имя?—смутилась девушка, вознегодовала.

— Все вы...—начал было конвойный, но, поймав в темноте горящий взгляд Марии, изменил направление речи:— Ты что, политика?

— Да.

— Садись,—сдавленным голосом сказал конвойный и подтолкнул Марию, раздвинув винтовкой тех, кто толкался около саней.

Для Сергея Мария утонула в темноте двора. Сергей посмотрел на обнаженный „меч“ конвойного и сказал ему:

— И меня пусти в сани, господин конвойный.

— Нет.

— Но я хочу быть с той девушкой, я тоже политик.

— Гм...—промычал солдат, рукояткой шашки дотронулся до своего уха, одетого в черный суконный наушник.— Ступай, но только нежно не смей сидеть!

— Что вы, товарищ... ээ... то есть, господин конвойный! Я ведь порядок знаю. Разве можно на этапе „нежно“ сидеть?

— Молчааа-ать!—гаркнул конвойный, чтобы сбалансировать то добрее, что он сделал.

Сергей шмыгнул в темноту двора, стараясь не звенеть наручниками: если услышит конвойный—с наручниками, ни за что не пустит в сани. Сергей поэтому в зубах перенес свою скатанную и перевязанную веревкой постель. Боком, рядом с Марией, приятно приспособился.

Опять в морозном воздухе застучало в ушах:

— Шашки воо-он!.. Шагом маа-арш!..

Кандальное железо на морозе еще страшнее завизжало. Пошли, зашагали сильные русские ноги, поколениями привыкшие к кочевью и бегу по необъятным равнинам земли.

Скрипнули полозьями, потянулись дровни с бабьем и барахлом, с хромыми и больными.

— Где, вы говорили, Юпитер?—начал Сергей вежливую беседу с Марией.

— Вон он, теперь прямо на тюрьмой. Вам не холодно?

— Нисколько, я привык,—говорил Сергей, весь дрожа и стараясь как можно меньше открывать рот, чтобы не наглотаться сухого морозного воздуха, не окоченеть бы.— А вот вам-то как, товарищ Мария? Возьмите мое одеялишко. Вот...

— Не беспокойтесь, товарищ, товарищ...

— Сергей.

— Не беспокойтесь, Сергей. У меня шаль теплая, оренбургская. Я и сама оренбургская. А вы, Сергей?

— Я, Мария, с Волги. У нас тоже...

Он не знал, что, собственно, „тоже".

— Сегодня какой-то исключительный мороз,—негодовала Мария.

— Ничего, Мария, сядьте ближе.

Они и без того сидели так близко, что еще ближе было бы уже некуда. Однако старались. Клейкий был мороз, прилипали люди друг к другу. В такой мороз если поцеловать, то губ не отдерешь. В этом деле мороз сильнее, чем аромат роз. Над Сергеем и Марией плыли звезды и Млечный путь. Под полозьями стонал девственный снег. Сергей осторожно дотронулся до руки Марии. Она ответила нежным, как утреннее солнце, пожатием. Они старались согреть друг друга. Сергей готов был согревать ее дыханием.

Все-таки добрались до вокзала в ночной тишине, проникнутые холодом, дрожью, онемением. Арестантов выстроили на платформе. Ждать поезда предстояло часа два, а может быть в три. На востоке край неба чуть позеленел. Мороз вошел в полную силу. Люди, скованные цепями и морозом, под охраной стальных штыков старались сбиться как можно теснее в кучу. Головы в головы или в соседние плечи, а

спины впереди стоящих. Все ожидали либо смерти, либо поезда.

Пришел поезд.

Если бы не постоянные окрики конвойных, то Мария и Сергей могли бы представить себе, что путешествуют из любопытства. Они пили хороший чай из жестяного чайника и разговаривали о произведениях Кнута Гамсуна.

Обоим им одинаково нравился Кнут Гамсун. Оба хотели бы попасть в фиорды, вкусить культуры загадочных скандинавов. Обоих их манили природа, лесной воздух, морской шум. Они рассуждали как пантеисты.

Станция Вологда положила конец увлекательным мечтаньям, теплоте нарождающейся близости. Только теперь около них появился Вазо, который, чтобы не мешать товарищам, держался все время в стороне. Сергею и Марии стало неловко, что они так забыли своего спутника и товарища. Но Ваньянц был весел и не считал мечтателей виноватыми.

Второпях Сергей и Мария обменялись своими адресами, условились о некоторых секретах в переписке. Мария должна была остаться в Вологодской губернии, а Сергей—пойти в Архангельскую. На прощание долго не могли оторваться друг от друга. У Сергея вертелось на языке предложение Марии просить перевести ее в Архангельскую губернию. Это более тяжелая ссылка, и несомненно, полиция с удовольствием исполнила бы просьбу Марии.

Сергей повторял:

— Товарищ Мария, друг, товарищ... Мария, лучший человек!

Сергею самому было удивительно на эти свои слова.

Да и Мария ему наговорила многое. Сколько тепла и счастья испытал Сергей! Какое глубокое горе ощутил он, когда расстался с Марией! Как хорошо! Впервые Сергею так было. Впервые он по-настоящему открыл глаза на мир. Вот девушка, женщина, отношение к которой без кривых,

болезненных изломов, без надуманности, недоговоренности, неловкости, внутренней фальши, стыдливой целеустремленности. Просто. Просто, как небо и земля. Сергей только с жалостью улыбнулся над собой, когда ему вспомнилась Катя Свинцицкая. Теперь-то ясно было Сергею, сколь много там было надуманности, младенческого воображения, детской фантазии. А Флера, парижанка? Стыдно вспомнить! Неужели за эти короткие, но исключительные по своей напряженности часы, за этот необыкновенный момент жизни с Сергеем произошел переворот?..

Когда Сергея ввели в камеру пересыльной деревянной вологодской тюрьмы, к другим политикам, Сергею показалось, что он переступил порог камеры не один, что будто бы об-руку с ним шагала Мария.

Мария—женщина, товарищ. Такая женщина—это всяческое богатство, полнота, сила. Великое и непостижимое переживал Сергей. Может быть, все это несбыточно? Идеализация? Зачем сомнения в такой великолепный момент? Скорее бы начать переписываться!

— Вы, товарищ, должно быть, устали с дороги?—сказал Сергею симпатичной наружности интеллигент чеховского типа.

— Ах, нет!—ответил Сергей.—Давайте знакомиться.

Знакомились с Сергеем его будущие и, вероятно, кратковременные сокамерники.

Ваньянц сидел в углу мрачный, едва подавал свою волосатую руку товарищам, которые с ним знакомились. Ваньянц сверкал глазами.

Новые знакомцы расспрашивали Сергея, откуда он, по какому делу, в первый ли раз и тому подобное. Сергей охотно о себе рассказывал. Он заметил, что его голос стал как будто не то что нежнее, а как-то проникновенное, и товарищи, казалось, уже начинали любить его, а он—их. Сергей рассказывал о своей первой ссылке, о своем побеге, о загранице.

Ваньянца кто-то спросил:

— А вы, товарищ, в первый раз?

Тут Ваньянц вдруг привскочил, глаза навыкате, зрачки запылали гневом. Армянин подбоченился и—почти криком:

— Кто? Я—первый раз, я, я? Первый раз?!—и сотрясая кудрявой черной головой, назидательно и гордо прохрипел:—Четвертый раз я! Понимаешь, четвертый раз!

Спрашивавший не на шутку струхнул и поспешил извиниться за то, что обидел таким вопросом. Следовало по виду и по манере Ваньянца догадаться, что он, конечно, уж не младенец в политической борьбе. Смешно было предполагать, что Ваньянц в первый раз идет в ссылку.

Прошел день. От Марии ничего не было. И другой день—то же самое, и третий. Сергей наложил на себя пост печали—отказался от чая и пил только воду. Эсер Владиславлев, довольно упитанный, избалованный судьбой, сочный человек, покачивал головой по адресу Сергея и говорил:

— Никак не пойму, как можно горячую воду пить, да еще без сахару!

— Для укрощения плоти,—скромно отвечал Сергей и хотел, чтобы без его объяснений догадались сами все, почему он так постничает.

Воду Сергей пил до тех пор, пока не получил—через неделю—записочку от Марии, что она скоро выйдет из тюрьмы и останется в Вологде. Если к тому времени Сергей все еще будет в тюрьме, она не прочь приходить к нему на свидания как невеста. В записке было прибавлено: „фиктивная“. Странно все-таки, почему она целую неделю молчала? Но Сергей рад был записке; ему начинало надоедать все грустить да грустить. Теперь записки есть, связь с милым, любимым существом восстановлена.

Вместо хоть сколько-нибудь толкового ответа о своей участи, о том, как поддерживать связь в дальнейшем, Сергей ответил ей стихами без содержания, как ода. Хотя Сергей никому не показывал этих стихов, но почему-то все

в камере узнали и подсмеивались над ним. Вероятно, неуклюжий, уголовный арестант, передатчик записок между Марией и Сергеем, рассказал кому-то о тайной переписке. После первого письма дело пошло очень интенсивно. Несчастный передатчик не успел бегать от женской половины тюрьмы к мужской и обратно. После отправки своей записки Сергей высчитывал часы и минуты, когда может получиться на нее ответ. Неизвестно, с таким ли нетерпением ждала Мария писем Сергея, но во всяком случае она всегда кончала письмо так: „С нетерпением жду скорого ответа“.

Наконец Марию освободили и оставили в Вологде под надзором полиции. Сергей каждый день ждал, что она придет на свидание, как обещала. Дни летели один за другим быстро, будто в сказке. Мария не приходила. Хуже всего было то, что и не писала она ничего.

Когда вечером в камере разгорались жаркие теоретические споры между марксистами и эсерами, Сергей отчаянно топил в них свою тоску и поэтому прослыл, пожалуй, самым горячим и остроумным спорщиком.

Однажды, в разгар такого спора, никто не слышал, как отворилась дверь, и в камеру вошел толстый, дебелый почти как женщина, вологодский губернатор. Спина его тучным накатом налезала на затылок. От губернатора пахло одеколоном, хорошим мылом, чистым бельем, кофе и медными пуговицами мундира. Губернатор был молод, но обрюзг, и тело его все тряслось, как желе или кисель. Все знали, что он либерал и хорошо относится к ссыльным. Поэтому при его появлении стража не отдавала команды заключенным как обычно: „Встать!“

Губернатор открыл свой большой рот с золотыми зубами и изнеженно сказал:

— Здравствуйте, господа! Ваша петиция мною получена. Вы просите скорейшей отправки всех вас в место ссылки? С удовольствием я это сделаю.

Тут только Сергей вспомнил, что он вместе с другими действительно подписал коллективное заявление о скорейшем направлении его в определенное ему место. Как это некстати! Зачем ему торопиться, когда он не знает, что с Марией, где она? А потом ведь она обещала притти к нему на свидание. Сергей так заволновался, что готов был просить доброго губернатора, по крайней мере в отношении его, Сергея, не выполнять так скоро петицию ссыльных. Но разве это можно сделать? Оставалась надежда, что этот губернатор, как почти все губернаторы, забудет свое либереальное обещание. Вот было бы хорошо! Здесь все так мило—тюрьма, и нежный начальник жизни ссыльных. Из всех заключенных Сергею сочувствовал бы, пожалуй, один только грузин, потому что он утверждал, что в этой тюрьме дают самый свежий хлеб и „до ветру“ выходить можно сколько угодно, даже ночью. Не тюрьма, а отель!

Сергей взглянул на армянина, армянин—на него. Поняли друг друга. Помолчали. Подчинились суровому большинству.

Губернатор сел на нары и стал вызывать по фамилии тех, которые сказывались больными и ходатайствовали о больничном пайке и об оставлении в городе Вологде. Такими оказались почти все заключенные. Губернатор матерински покачал головой и сокрушенно сказал:

— Боже мой! Все революционные партии состоят почти исключительно из болезненных людей, слабых и немощных. Как же вы, господа, хотите революцию делать? Если бы я был на вашем месте и, предположим, в самом деле был болен, я бы из одной гордости не стал просить к себе снисхождения или лучших условий. И кроме того, если в революционных партиях только немощные, то это богадельня, а не партия, и теории таких партий—теории больных людей.

Кто-то стал всерьез возражать губернатору.

Губернатор стоял на своем и советовал:

— Возьмите лучше, господа больные, ваши прошения

назад и подчиняйтесь общему суровому режиму. Это будет лучше для ваших нервов. Скорее проникнетесь идеей эволюции общества.

— Мы—сторонники теории мутаций,—заметил интеллигент чеховского типа.

— В животном мире—да. В мире разумных существ—нет,—меланхолично ответил губернатор и опять потребовал взять прошения обратно.

Никто не согласился. Губернатор пожал плечами и сказал:

— Если бы взяли прошения, я бы для вас все сделал, установил бы в тюрьме больничный режим, более сносный. А вы упрямитесь. Поэтому я принужден прислать врача, и только те, кто действительно болен, получат больничный режим. Желаю вам счастливо продолжать ваш интересный спор, который я невольно прервал. Простите. Всего хорошего!

— Всего!—неизвестно чего пожелала хором камера заключенных холеному губернатору.

В эту ночь Сергей написал два больших письма: одно—Марии, в надежде, что ее найдет и передаст армянин, которого намечали оставить в Вологде (к его сожалению: он мечтал об отдаленных местах); другое—своему другу Званову, который жил недалеко от Вологды, в Тотьме.

Письма, написанные ночью, бывают проникнуты особенной искренностью и близостью к тому, кому пишешь. Письмо Марии вышло великолепно. Сергей словно предчувствовал разлуку. Через день его вызвали „со всеми вещами". Опять обычные во дворе обыски. Выстроили в ряд с кандальниками, надели наручники—на вокзал, к поезду, который понесет его все ближе и ближе к полюсу, к концу земли.

Эх! У Сергея вся надежда на армянина. И еще—Званов. Он тоже может согреть Сергея ответом своей глубокой дружбы.

В надежде дружбы и, может быть, любви Сергей смотрел из окна вагона на поля и синий северный лес вдалеке...

ГЛАВА II

ЗИМНЯЯ ПРОСИНЬ

Из архангельской тюрьмы Ваньянц пошел на юго-восток, в Пинегу, а Гаяс и Сергей—на северо-восток, в Мизень, к берегу океана.

Сначала хорошо знакомый Сергею обыск в темном тюремном коридоре, потом выход во двор, занесенный снегом, наконец Сергей и Гаяс—в скрипучих розвальнях, запряженных низенькими лошаденками. Они тронулись, понеслись неохотно, и головенки их закачались, гривы, как языки пламени, взвихрились ветром, несущимся с Ледовитого океана.

Предстояло покрыть семьсот верст. В день такие лошади по сугробистым дорогам и лишь засветло (ночью с арестантами опасно ехать) сделают не больше тридцати—тридцати пяти верст. Значит, жизнь в дороге продлится недели три, а если что случится с лошадьми или людьми—то и месяц.

Первые дня четыре ночевки попадались в деревнях. Потом поселки и людские жилья стали встречаться все реже и реже. Пришлось ночевать в лесу, в ямах, вырытых специально для ночных станций. (Словно вверглись в старую, Ивана Калиты Русь: тогда тоже ночевали по ямам, откуда и слово „ямщик".) В такой яме всегда был приготовлен чьей-то заботливой рукой сушняк для костра. Над ним, на закопченном железном тагане стоял открытый ветрам и омываемый воздухом чугунный котел. В нем можно было варить и щи, и кашу, и чай. В соседнем болоте из-подо льда, а то и просто из снега добывали воду и—в чугун ее. Чаще всего солдаты и арестанты делали мессиво из пшена. Наевшись им и сдобрив его водочкой, в том же чугуне варили чай. Ночевали у тлеющих угольев, в яме. Сергей не так мерз, как Гаяс, потому что у Сергея было зимнее пальто,

а у Гаяса—изящное демисезонное, в каких ходят на Невском да в европейских столицах.

Сергей уговаривал Гаяса меняться пальто. Гаяс отклонял это и рассказывал, почему, собственно, он оказался такой лютой зимой в легком европейском одеянии.

— Вы ведь знаете, что в архангельской ссылке я уже был один раз и бежал на оленях, с самоедом. Счастливо добрался до Питера, потом—за границу, и поселился в Константинополе. Прожил там около двух лет, нашел массу социалистов среди младотурок. Наконец решил нелегально вернуться в Россию. Это мне тоже удалось. Я устроился в Питере. Стал сам делать переводы моих романов и пьес на русский язык и давал их в „Заветы". Иду я раз по Невскому. И вдруг кто-то меня так дружественно окликает по моему настоящему имени: „Гаяс!" (А я был по паспорту вовсе не Гаяс и даже не татарин.) Я оглянулся. Ничего. Все идут спокойно мимо меня. Не успел я сделать и трех шагов, как чья-то наглая рука очутилась у меня на плече и с Невского повели меня прямехонько в Кресты. Это, оказывается, шпики окликом проверяли, действительно ли я Гаяс, чтоб не дать промаха. Дело это было в начале осени. На мне было пальто, купленное в Константинополе. А зимой вот отправили в ссылку... Не надо было оглядываться! Инстинкт, проклятый, подвел, привычка к имени, которое мать дала.

— Вас никто не навещал в Крестах?

— Кому же было? Я одинок.

Помолчали. Сергей:

— После Константинополя, теплого моря и отражающихся в нем минаретов—яма у Ледовитого океана.

— И наоборот,—добавил тихо Гаяс, потом—погромче:— Хорошо, что мне в архангельской тюрьме дали арестантский бушлат [1].

---

[1] Арестантская шинель.

Тем временем поспел ужин. Сергей, Гаяс и другие арестанты дружно запустили в хлёбово деревянные ложки...

Во время этого пути Сергею мало-по-малу стало казаться, что в мире ничего нет кроме мутного неба и белого снега. Все остальное, даже зеленые луга и цветы—выдуманы и сделаны людьми. Между мутным небом и белым снегом черная точка—человек. Непонятно его назначение. Ужасна его мизерность. Эта черная точка всё двигается, словно гонимая ветром, в мерзлом пространстве неизвестно куда. Москва—Париж, Париж—Москва, свет, смех, толпа, народ, массы, классы, борьба,—все это сон. А может быть, где-то еще все это осталось? О да, конечно—осталось, потому что там с этим осталась и Мария. Уж не сон ли и Мария?.. Нет, она была так реальна морозной ночью от тюрьмы до вокзала, она так ясно говорила о Гамсуне. Да что там! Вот под грязной обовшивевшей и обветшалой рубашкой, у самого сердца Сергея истлевают ее записки, где карандашом начертаны слова любви к нему, к Сергею. Мария была и есть,—значит есть еще что-то кроме снега, ветра и хмурого неба. Там—Мария, среди огней и людей (человек не может быть без огня). Здесь—яма, тьма, метель, тлеющие угли, угрюмые голоса бессонных солдат и арестантов. Люди—как звери. И свист метели в кустах—единственная музыка. Сергей все справлялся по компасу, где юг. И в ту сторону поворачивал лицо, когда старался заснуть. От этого становилось жутко. Если лицом к югу, значит—к людям; значит сзади, за спиной—никого. Конец земли, обрыв и вечность. Яма, тлеющие угли, вьюга, ночная, снежная. Откуда так много тьмы и ветра и снега?

Впервые тут Сергей повнимательнее прислушался к своим думам о маленькой черненькой точке в пространстве, о человеке.

Сверху яму запорашивало снегом, как медвежью берлогу. Вьюга временами не пела, не выла, не стонала, а ры-

дала, как младенец. Тлеющие головешки чадили, курились, как старое, брошенное пепелище. Сергей познал, что значит легкий воздушный сон: он чувствовал свои тяжелые веки, и как они красны, воспалены, и как их саднит, ощущал холод, пробегавший по спине, а все вместе сливалось в прекрасную мечту. Выплывала мягким зеленоватым светом залитая комната студента Сергея. На одном конце стола маленький самовар, недопитый чай. На другом—груды книг и бумаг. Посредине лампа с абажуром—источник тихого света. Хорошо натопленная голландка, и он, Сергей, прислонился к ней спиной. Он слушает, как его Мария, его жена, читает ему что-то захватывающе интересное. У нее полурасстегнут ворот кофты. У нее тонкие руки, волнистые пышные волосы, ласковые умные глаза. Голос—материнской доброты. Сергей еще знает, что у Марии горячее белое тело. Он это видел, он уверен в этом. И никому другому не дано этого знать и видеть. Мягкий свет, наполняющий комнату, не от лампы, а от нее, Марии, от ее глаз и тела. Поэтому-то Сергей так проникновенно-глубоко понимает то, что читает ему Мария... Стук в дверь. Входит приятель Сергея, Званов. Его приход почему-то всегда для Сергея радостен, всегда что-то новое несет. Званов всегда что-нибудь неожиданное раскроет. И это новое—всегда возвышающее, обнадеживающее. Вот и сейчас он вошел, и в комнате стало светлее, и голоса у всех мягче, но бодрее. Сергею приятно, что Званов немного завидует его, Сергея, счастью,—а он непременно ему завидует. Когда Званов обращается к Марии, в глазах его столько чистого товарищеского уважения к ней, как к жене его друга и как к товарищу. В комнате вокруг зеленого абажура любовь и дружба—сильнее смерти.

Тепло...

Сверху за ночь нанесло много снегу. Под ним—как под стеганым одеялом. Головешки перестали дышать чадом, умерли, захолодали. Ветер задохся в тайге. Земля совер-

шила полный круг и начала новый—может быть, миллион первый. Хочет быть утро.

Сергей чувствовал свои сомкнутые веки. Не сон, а усталость лепила их. Легкое сновидение о Марии и Званове Сергей принял за жизнь и хотел скорее встать, чтоб рассказать Гаясу, как этой ночью Сергей женился на Марии. Если он так скажет, то и Гаясу будет ясно, какая новая, небывалая жизнь предстоит Сергею, словно родился он второй раз.

Но едва Сергей открыл глаза, как все, что привиделось, показалось ему далеким,—хуже этого—прошлым, следовательно невозвратным.

Всю дорогу, пока плелись до следующей ямы, Сергей просил небо ниспослать ему опять такой же сон. Он стал карандашом писать для Марии дневник. Как приедет к месту пошлет его ей почтой. Дневник его отправится тем же белым пушистым путем, каким шел и сам Сергей. Через месяц письмо будет у Марии, еще через месяц Сергей получит ответ. Сергей стал гнать дни и часы. Он считал до тысячи, до миллиона, старался забыться песнями, беседами с Гаясом.

Когда ложился в яме у костра, Сергей задумал опять во сне увидеть себя женатым и сказал сновидению вчерашнюю идиллию: теплая комната, лампа под зеленым абажуром, Сергей пишет, Мария около него тихо читает. Она сидит на ручке кресла. Сергей касается ее коленки в коричневом платье (другого Сергей на ней не видал). Прядь ее белокурых волос спадает и чуть щекочет ухо Сергея...

Но едва Сергей закрыл глаза, как показалось ему, что горящая головня костра сама привстала, косматая дымом вылезла из очага и плюхнулась Сергею прямо в темя. В глазах Сергея стало сине, и он потерял сознание...

Утром Сергея насилу добудились Гаяс и конвойные. Уголовные арестанты и солдаты были веселы,—повидимому, они согревались водкой и заранее радовались тому, что эту

ночь они проведут уж не в яме, а в избе,—сегодня достигнут деревни Кулугуры. Сергей не сочувствовал общему веселью. Когда он взбрасывал свою котомку на спину, то чуть не упал от головокружения. Руки стали непослушными, и все движения были неверны, ломки. Сергей закрыл глаза, чтобы не видеть сплошной небесно-снежной белизны: он ее теперь ненавидел. И сердце в груди Сергея билось трепетно, по-особенному стучало. Гаясу отвечал Сергей сухо. Разговор не клеился.

Как только добрались до Кулугур и Сергей очутился наконец в человеческом жилище, он испытал приступ страшной жажды и слабости. Он лег на полати. Гаяс дал ему воды. Свесив с полатей свое раскрасневшееся лицо, Сергей жадно глотал воду ковшами. Утолив жажду, он впал в забытье. Смутно слышались ему пение и крики. Они в конце концов разбудили Сергея. Он опять свесил голову с полатей и попросил пить.

На столе среди ошурок яиц и обглоданных костей стояла жестяная лампа, коптела. Гаяса не было в избе. Конвойные, не поняв, что Сергей просит воду, подали ему водки. Сергей ее жадно выпил. Достал из мешка зеркальце. Взглянул в в него и в полутьме рассмотрел свои горящие, воспаленные глаза и распухшее жаркое лицо. Сергей поспешно начал писать длинное письмо Званову. Сергей подробно рассказывал своему другу об этапных приключениях, о страшном морозе, о том, что повстречал интересную большевичку, которая недалеко от того городишки, где жил Званов. Он мог бы повидать ее. Сергей расхваливал ночевки в ямах, восхищался удобством отопления их кострами, хвастался, что пил превосходный чай из чугунов в яме, что северная природа закаляет человека и вообще все так чудесно и превосходно, даже конвойные, что это путешествие кроме хорошей, здоровой закалки ничего другого не может дать. Поэтически описывал природу севера, просторы, полные ветра и снега. Все письмо было проникнуто подкупающей

бодростью. Он даже подпись на нем поставил с веселым росчерком, как прежние волостные писаря. Потом стал писать Марии. Ей он жаловался на боль в висках, на пронзительный беспокоящий стук сердца, на то, что все, даже душа человека здесь засыпана снегом, завеяна ветрами, и что если бы Мария была здесь, то она наверное дала бы ему теплого молока, сладкого, с сахаром, чтоб преодолеть жар, ломоту в пояснице и боль в висках. Сергей бросил в этом месте писать и попросил у старухи крестьянки горячего молока с сахаром. Крестьянка подала ему глиняный горшок с „томленым“ молоком, покрытым розово-коричневой пенкой. Сергей опустил туда несколько кусков сахара и жадно выпил густую румяную жидкость. Пришел Гаяс; он гулял по деревне.

Увидев, в каком состоянии Сергей, Гаяс с нежностью, которую в нем трудно было подозревать, начал ухаживать за Сергеем, прежде всего стараясь его всего закутать и уложить спать. А Сергей, возбужденный водкой, все хотел двигаться, говорить, даже петь. Гаяс его уложил. Сергей сомкнул глаза. К полуночи он стал изрядно потеть. Укрылся еще теплее где-то добытым Гаясом дубленым полушубком. Окончательно взмок от пота.

Утром Гаяс, старательно заслоняя Сергея от холодного воздуха (конвойные то-и-дело приходили в избу и выходили), переодел его в свое белье.

Сергей чувствовал себя совсем здоровым. Гаяс рассказал ему, что Сергей всю ночь бредил Марией. Сергей страшно обрадовался этому и еще тому, что вот теперь у него есть предлог рассказать Гаясу о том, кто такая Мария и почему он ею бредит (ночью—вслух, а днем—про себя).

— Мария?—радовался Сергей.—Мария?.. Неужели? Как это удивительно, что именно она! Я вас когда-нибудь с ней познакомлю. Это человек и женщина и товарищ...

ГЛАВА III

ГАРТМАНОВЦЫ

У политических ссыльных была установлена очередь—принимать товарищей, приходящих очередными этапами. Встречать этап приходили все ссыльные. Они скоплялись у ворот полицейского управления и оттуда освобожденных товарищей разбирали по своим домам для обеда и ночевок.

В три часа январского дня (на севере это уже сумерки) Гаяс и Сергей очутились на свободе, посреди широкой улицы, окруженные ссыльными (которых было человек двенадцать). Расспросы, разговоры, зачатки споров, первые наметки симпатий и антипатий. Большинство тут были большевики. Гаяс обозвал их „ленинскими молодцами". Его обозвали „лавровским старичком". В общем любезничали.

Из толпы ссыльных к Сергею подошел низенький, толстоносый, с лицом очень выразительным и с приятным, немного хрипловатым, украинского тембра голосом. Он был в барашковом полушубке и в круглой барашковой шапке набекрень.

— Как отобедаете,—сказал он,—обедать будете у товарища Марии,—он указал на низенькую женщину, тоже стоявшую в толпе и тоже в полушубке,—так приходите ко мне, у меня ночуете. Товарищ Мария,—обратился он к женщине,—потрудитесь, покажите товарищу Сергею... так, кажись, вас зовут?.. где моя хата.

Низенькая молодая женщина важно, ничего не ответив украинцу, взяла не без нежности Сергея под-руку и, выступая гусыней, повела его по укатанному снегу широкой улицы.

В чистенькой мещанской светелке пахло чистыми скатертями, вкусным, выпеченным дома хлебом и треской. На столе были расставлены приборы по всем правилам свет-

ского обеда. Молодая девушка, лет семнадцати, протерев последнюю тарелку до блеска, поставила ее бережно на стол. Молодая девушка была высокая, худощавая, с широким умным лбом и чуть заметной родинкой на левой щеке. От этого лицо ее казалось легкомысленным. Она протянула навстречу вошедшему Сергею свои белые руки. Здороваясь с ней, Сергей так низко поклонился, что чуть было не поцеловал ее тонкие пальцы. И растерялся. После ночевок в ямах и черных избах, под бушлатами и халатами, среди арестантской братии—вдруг в его, еще не отмытых руках две тонкие, нежные... Потом Сергей увидел, что это у нее манера протягивать всем сразу две руки. Словно каждому она вверяла себя.

Низенькая женщина рассмеялась над остолбенением Сергея, но как человек привыкший и умеющий справляться со всякими неловкостями в обществе, мягко подтолкнула Сергея к другому товарищу, знакомиться.

— Моисей,—отрекомендовала она его Сергею.

Моисей был настолько сухощав и тонок, что Сергей сначала и не заметил его. Он стоял, прислонившись к подоконнику и перелистывая только что полученную книжку журнала „Современный мир". Лицо его было нездоровое, веснущатое; нос большой, острый; кожа тонкая, прозрачная. Очки в золотой оправе. За ними—глаза светлоголубые, одновременно колючие и добрые. Руки—одни кости под тонкой кожей. Он весь прозрачный. Очень по-деловому, без признака улыбки взглянул этот юноша на Сергея. Выждав секунду, спросил:

— На сколько?

— На три года...Вы, товарищ Моисей, откуда?—атаковал его в свою очередь Сергей.

— Из Петербурга.

— Эсер?

— Нет, эсдек, большевик.

— Как хорошо! Я—тоже.

— Восхитительно!—воскликнула низенькая женщина.—. Стало быть, мы все здесь марксисты. Мы организуем свою коммуну. Вообще надо вплотную заняться организацией и переменить расписание встреч по партийному приказу... Садитесь есть треску.

— Мария, все у вас треска да треска!—меланхолично заявил Моисей.

— Пикшу вы тоже не любите, сайда вам не нравится, мясо вы не уважаете,—отвечала низенькая. Я уж не знаю, что вам, родной Моисей?

— Привыкайте, Моисей. Я тоже привыкла,—грустно вставила девушка с тонкими пальцами.

— Да, Юличка,—ответил ей Моисей; у него голос был сухой, и каждый конец фразы казался отрубленным.—Помните, как вы на этапе впервые вкусили черного арестантского хлеба. Понимаете,—обратился Моисей всем корпусом к Сергею,—эта деточка только что из маминых и папиных теплых рук попала на этап. Дело было в Киеве. Дали ей краюху черного хлеба. Она его—как деревяшку в рот, а из глаз слезы градом, градом... Деточка еще, ей бы манную кашку, а тут солдаты с черным хлебом, арестанты, этап... Вот, Юличка, что значит в революцию итти!

Юличка покраснела, защищалась:

— Выдумки, все это выдумки на меня! Сложили легенду, и теперь ее все повествуют. Я вовсе на этапе не плакала. Вы, Моисей, сочинитель!—и мило грозила ему ложкой.

Постучали в дверь. Вошел среднего роста стройный студент. Глаза его были ярко-синие. Студенческая тужурка синяя, брюки синие, рубаха-косоворотка синяя, фуражка в руках тоже синяя. Даже под синими глазами—синие круги. Отбросил в сторону на кушетку фуражку, закартавил:

— Вот он где, новичок-то! А я целый час проторчал у полицейского управления. Я немного опоздал... Ну что, как на воле, там? В Петербурге? В Москве?..

— Да не знаю. Я ведь в тюрьме порядочно сидел. Это

вам скорее можно знать, что делается на белом свете, вы хоть газеты читаете.

— Ах да, верно, верно!—охотно поправился студент.— Я вас на свой аршин меряю. Я ведь не шел этапом. Мне разрешили на свой счет...

Всем стало немного неприятно: чего он хвалится милостями врага к нему?

— Юличка,—обратился синеглазый к девушке—да?

— Что „да"?—Юличка покраснела.

— Вот он всегда так смущает нашу барышню,—заметил Моисей и засмеялся немного делано.

— А вам что? Пусть смущает,—рассердилась Мария и сразу сделалась старой.

— Всегда все надо мной смеются,—заключила Юличка тоном жертвы.

Сергею вдруг стало жалко всех и в особенности самого себя.

Обед затянулся, потому что на десерт был горячий спор между марксистами и эсером—синеглазым студентом. Юличка тоже была марксисткой и спорила горячо. Но синий ей не отвечал или же ее возражения приписывал Моисею и тогда их парировал. Сергей не знал, когда ему следует покинуть здешний уют, курил трубку и кое-когда вставлял свои замечания в спор. Мария вывела Сергея из неопределенности:

— Где вы будете ночевать?

— Ах, да!—захлебнулся Сергей табачным дымом.— Я обещал притти к одному товарищу.

— К Ефиму? Ну что ж, если хотите, идите к нему. Он интересный собеседник. Немножечко грубый. Вы могли бы рассчитывать и на наш диван. Оставайтесь, если хотите.

— В этом доме,—поспешил пояснить синий,—Ефим считается монстром.

— Ничего подобного!—возразили в один голос Моисей и Юличка.

— Я уж обещал к Ефиму. Пойду к нему,—настаивал Сергей.

— Он парень хороший,—рекомендовал его Моисей.

— На Лондонском съезде был,—вставила Юличка.

И вдруг сразу наступила какая-то неловкость. Моисей блеснул глазами куда-то в угол, Мария досадливо притопнула кончиком ботинка, сама Юличка растерялась, словно ступила ногой не туда, куда следует. Это замешательство передалось и Сергею, хотя он не понимал, в чем дело. Радостным выглядел только один синий. Он первый и взял слово:

— Идите, дорогой товарищ Сергей, я вас провожу к Ефиму.

Мевень—маленький городок при впадении реки того же названия в Белое море. В городе всего одна улица. Зато широкая, длинная. Дома высокие, чистые, внутри просторные; народ в них живет рослый, широкоплечий. Мужики и мещане русобородые. Женщины, как это ни странно, часто встречаются смуглые, с большими черными глазами, как испанки.

Вокруг города, с одной стороны, на неъобятные пространства—тундры, с другой—до конца земли, до полюса, Белое холодное море и океан. Море во льдах. Тундра в снегу. Снег до того чистый, что розовеет и кажется прозрачным под лучами солнца.

Сергей никогда раньше не предполагал, что не очертания, не рисунок, а сам цвет может быть таким привлекательным. Сергей наслаждался первым вечером на свободе. Болтая с „синим“, он спешил к Климу. Было в Сергее еще какое-то особое чувство. Оно только что возникало и самому ему было неясно. Чувство какого-то, еле уловимого, внутреннего холода и жути, может быть одиночества, может быть сиротливости—оттого, что Сергей находился сейчас на самом краю человеческого жилья. И верно,—что за его

спиной? Злой океан, полюс, смерть, конец мира, в котором живут люди. За спиной Сергея вечность и то, чего никогда не видали люди.

„Синий“ нажал щеколду калитки маленького покривившегося и почерневшего домика. Прямо от калитки шла высокая лестница, вся запорошенная снегом. Избы на севере строятся, по большей части, на высоких сваях. Под избами помещается скот, от которого пол в избе теплый. „Синий“, открывая дверь в жилище Ефима, торжественно пропустил Сергея вперед себя.

Перед дверью, расставив ноги и засунув руки в карманы, стоял Ефим. Он радостно приветствовал Сергея, но вместе с тем чувствовалось, что он пристально наблюдает его. Не простая простота у Ефима,—наблюдательная. Глаза Ефима искрились весельем, пожалуй немного озорством, на щеках, у губ, лукавые ямки смеха. А в общем большая привлекательность была в лице этого человека. Ефим начал:

— У меня попросту, ночевать будем без комфорта. Садитесь.

— Прекрасно,—ответил Сергей и покосился на убогую кровать, узкую, с кривыми ножками.

Ефим моментально это уловил.

— Не беспокойтесь, найдется место, найдется...

Однако все трое, несмотря на приглашение, стояли. Ефим нарочно, как видно, не садился. „Синий“ догадался.

— Всего вам хорошего, приятных разговоров и сладких сновидений,—сказал он.

— Мое,—твердо, словно скомандовал, ответил Ефим и почему-то даже не дал руки смущенному студенту. Тот неуклюже повернулся, так, что чуть не ушиб лоб о полати, и вышел.

— Калитку прихлопните, не забудьте!—вдогонку ему крикнул Ефим.

Сергей нашел, что у Ефима приятный, задушевный тенор,—должно быть, хорошо поет под гитару.

— Вы играете на гитаре?—спросил его Сергей, несмело садясь на скамейку (стульев не было).

— ...Нет. Что они тебя обедом-то подкормили?

Неожиданный переход Ефима на „ты“ вдруг сделал его как-то роднее Сергею. Совсем не грубо, а ласково выходило это у Ефима. Сергей же, как человек вечно во всем и больше всего в самом себе сомневающийся, никак не мог так быстро перейти на „ты“. Сергею казалось,—для того, чтобы говорить другому „ты“, надо, чтоб произошло какое-то особенное событие.

— Да, я хорошо поел, поговорил. Занятные люди...

— Находишь?

— А что?

— Ничего. По-моему, это какое-то „святое семейство“... Народец вообще.

— Вы, я вижу, недолюбливаете их. Но со мной они обошлись очень приветливо, тепло приняли...

— Еще бы! Ведь ты—интеллигент. А приди к ним какой-нибудь в стоптанных валенках и вот с этаким носом,—Ефим приставил к своему носу два кулака,—так они его едва и на порог пустят и объяснят: „неинтересный собеседник“. Им бы все собеседовать, а народом они брезгуют...

— Гм, гм... И Юличка такая же?

— Вроде. Но самая зловредная у них—это Мария. Меньшевичка. Чем меньше явление, тем она его легче охватывает. Рабочелюбка. Как и все, конечно, на словах. Из них порядочный парень только Моисей. Он большевик, и закалка у него есть. Жаль мне его, что он затесался в это „святое семейство“. Но это потому, что он пришел раньше меня,—я бы не допустил. А то они его приняли, обогрели, а он и растаял... Смотри, ты туда не попади. Держись в стороне. Все святое—самое поганое на свете.

— Я буду с тобой... поближе,—вырвалось у Сергея так неожиданно и сердечно, что он покраснел.

Ефим стал рассказывать про себя. Он в ссылке уже не

впервые. Однажды он бежал из Пинеги, был некоторое время нелегальным на воле, все время в революционной партийной работе, пока снова не „сел“, и теперь его подальше отправили. Здесь он и женился, тоже на ссыльной. Она раньше его окончила срок ссылки и недавно только уехала. Не без застенчивости, но с большою охотой и даже гордостью Ефим, порывшись на столе в газетах и бумагах, достал оттуда портрет той, с которой он связал судьбу свою надолго. Пока Сергей рассматривал портрет молодой девушки, типичной украинки, стройной, с лукавым взглядом смеющихся глаз, Ефим еще раз тихо пояснил:

— Наш товарищ... однопартийка.

— В любви это роли не играет,—заметил Сергей, сам не совсем веря в то, что говорит.

— Ну, не скажи,—ответил Ефим.—Попадется вон этакая меньшевистская баба, язык с ней обломаешь, когда надо работать. Разве это жизнь была бы?

— С боевой точки зрения ты прав,—Сергей решился сказать „ты“, потому что они оба уже путались в темноте интимных вопросов.

— А на какой же прикажешь быть?

У Сергея язык так и чесался сказать Ефиму, что он прав и что, в сущности, Сергей тоже имеет невесту (ну да, фактически невесту), которая в то же время сотоварищ по партии. Но ему стыдно было в этом признаться. Ефиму тоже стало немного неловко, что он слишком рано с едва знакомым товарищем стал разговаривать на эту тему. Он осторожно вынул из его рук карточку и опять не утерпел:

— Она ждет меня. Как кончу здесь, так поеду, поженюсь окончательно.

— У меня тоже, собственно...—начал было Сергей, но не докончил, потому что сам хорошенько не знал, ждет ли его кто-нибудь или нет,—кажется, что нет.

— Эге, брат, подбодрил его Ефим.

— А чего ты не бежишь опять?

— Сейчас трудно. Да потом в моем положении нелегальным недолго проходишь и немного пользы партии принесешь. Легальный-то я буду устойчивее, долговечнее. Впрочем, если надо будет,—готов.

— Ты, говорят, был на Лондонском съезде?

— Тссс! Эх, дураки, болтают! Это, наверное, в „святом семействе" тебе сказали? У Марии недержание языка.

— Мне-то думаю, можно.

— Да ведь не тому надо говорить, кому можно, а кому нужно. Я бы сам тебе сказал, а она, меньшевистская душа, не имеет права распространяться.

Ефим много и увлекательно рассказывал о Лондонском съезде. Картинно изображал революционную работу в его родном городе Луганске на заводе Гартмана. Про екатеринославских рабочих, про погромы. О меньшевиках и большевиках. Ефим не находил слов, чтобы изобразить ничтожество идейных врагов. Он часто говорил:

— Среди меньшевиков есть люди с башкой, вообще они много знают, но ничего не понимают...

Говорили так до первых петухов. Пернатые крикуны вздорными голосами, напоминали, что грядущий день—у ворот. „Ку-ка-реку", словно черной тушью по белому, подчеркнуло одиночество всего живого среди тьмы неподвижного.

— Ты постой-ка,—сказал Ефим как-то по-родному,— в тюрьме-то ты назябся, так я положу тебя на печь. Я сам там всегда греюсь.

— Нет, что ты! Я лучше на койке... на кровати,—поправился Сергей.

Начались обычные уговаривания. Ефим заставил Сергея забраться на печку, даже подсадил ладонью в зад. И отдал новому своему товарищу все, что имел теплого. Глаза Сергея тотчас же слиплись. Но он еще разобрал долетевшие до него слова Ефима:

— Завтра пойдем к моему земляку Юрию, тоже гартмановец.

— Это хорошо,—услышал Сергей свой собственный ответ, как чужой, и утонул окончательно в океане тепла, и начавшейся дружбы...

Длинноносый гартмановец Юрий был настоящим запорожцем. Глаз его был меткий, на прицел брал всякого человека. Веселый, остроумный, анекдоты сыпет не уставая. Говорун, певец и гармонист. Но за этой веселостью и нечто другое чувствовалось. Не всего себя показывал Юрий.

Однажды он играл на своей гармошке (с ней он никогда не расставался и называл подругой). Лились, как всегда, веселые мотивы. Вдруг смолк. Прислонился головой к „подруге" своей, и она словно сама нежно запела о чем-то страшно грустном. Отрыдала гармонь за сердце хватающую мелодию. Юрий поднял лицо. Серые, немного мутные глаза его стали необычны, будто они среди тонких кружевных звуков разглядели то, что навеки потеряно, о чем даже сказать нельзя. Только постепенно и медленно спадала с его глаз пелена этой безысходной грусти, которая была заметна Ефиму, Сергею да еще немногим. Сергею почему-то мучительно хотелось думать, что его наблюдение ложно, что не было грустных глаз у Юрия, и вообще хотелось забыть, что Юрий дал неожиданно заглянуть, может быть, в самую глубину своей сущности. Сергею стало беспокойно и за себя: может быть, и у него самого что-нибудь подобное иногда светится.

Кто хоть раз говорил с Юрием или в особенности соприкасался с ним по работе, не мог не чувствовать, что этот человек притягивал и вместе с тем пугал, отчего становился еще притягательнее, как пропасть.

Подступала скупая северная весна. Юрий первый, на удивление мещанам и даже своим товарищам, открыл окно. Его видели сидящим у окна с гармошкой. Волосы его теребил ветер. От висков по лбу у Юрия шли глубокие острые залысины. От этого поднятые ветром волосы походили на

рога. И лицо Юрия было озорное, наполненное страстью, как у фавна. Лучистыми мутноватыми глазами (светлые прожилки у зрачков) смотрел он поверх улицы. Сила, молодость и нечеловеческая тоска были в нем. Юрий не заметил, как к его окну приблизился Сергей.

— Ты так играешь, что за душу хватает...—сказал Сергей.

Юрий оборвал звуки „подруги“ своей и свои собственные (он подпевал ей глуховатым, но красивым запорожским басом).

— Оставь душу в стороне, не будет хватать,—сказал он и сразу рассмеялся, протянул руку.—Здорово, брат!

— Здравствуй.

— Где ты у человека душу нашел?

— Не придирайся к словам, не будь строг.

— К чему же придираться, как не к словам,—без них ведь ничего не поймешь.

— Может быть, я помешал тебе? Могу. уйти.

— Наоборот, я все хотел тебя расспросить про Париж, как там рабочие живут, за границей-то?

Сергей не испытывал ни малейшей неловкости, говоря с Юрием. Охотно и плавно стал повествовать про Париж. Сергей любил Париж. Однако незаметно, но очень скоро Юрий сам подтолкнул его к другой теме—отношений между полами. Сергей и на эту тему, может быть, впервые в своей жизни охотно взял слово и поспешил сказать, что он любит, что женская ласка, проникнутая пониманием,— великая движущая сила. Юрий неожиданно страшно шокировал Сергея грубым раскатистым смехом. Юрий назвал Сергея средневековым рыцарем. Сергей хотел обидеться, но, во-первых, Юрий, сыпля насмешки, не давал ему слова, а во-вторых, Сергей чувствовал, что на Юрия обижаться нельзя, ибо он со своим дьявольским смехом более искренен (если не более прав), чем Сергей со своим признанием и восхищением любовью. Вдруг, так же неожиданно, как

начал нападение, Юрий смутился, даже покраснел и объяснил, что это он шутит, что он над всеми шутит, кто тоскует о любви.

— Ты сам о ней недурно поешь под гармошку.

— Эх, так ведь я только пою, а вы все думаете, что такая песня существует в виде людей. А это только песня, понимаешь, напев...

— Я тоже, как ты, долго так думал. Но теперь меня постигло чудо... Погоди, не перебивай. Я могу тебе ясно рассказать, что такое любовь... Да погоди свои безобразные гримасы корчить! Слишком долго я сам над этим издевался, чтоб не понимать твоего настроения. Поэтому теперь...

Юрий до пояса вытянулся из окна, так что напряглись жилы на его сильной длинной шее. Ветер энергичнее стал завихрять его волосы. Лицо Юрия с улыбающимся полумесяцем губ стало классическим клоунским, циничным. Сергей осторожнее, но откровеннее стал расстилась перед ним свое обожженное неудовлетворенным чувством сердце. Он говорил об удивлении перед своим новым чувством к Марии. Это чувство было для него ново, а потому удивительно. Молодость удивляется всякий новизне, а новизною считает то, чего не было вчера.

— А где теперь твоя шмара?—подчеркнуто грубо перебил Юрий рассказ Сергея.

Тот был ошеломлен. Не знал, не следует ли ему по этому случаю притти в ярость. А может быть, лучше горько и горячо расплакаться от нанесенного оскорбления и потом обо всей этой сцене написать, пожаловаться Марии? Милая... Или все принять за шутку? Ведь Юрий—прекрасный парень. Уж не прикрывает ли он грубость свою хрупкую, детскую нежность?

— Она не здесь, она в другой ссылке, в Вологде,— ответил Сергей, никак не решив своих сомнений.

— Наверно, теперь там кому-нибудь шарики крутит.

Сергей решительно не понимал, как он все это сносит. Как смеет Юрий играть на таких сокровенных струнах?.. А отчего же все-таки Сергею не уходится отсюда?

— Ты Юличку видел?—спросил Юрий будто помирнее.

— Видал.

— Студента, эсера с синими глазами, видел?

— Тоже—да.

— Что скажешь?

— Ничего.

— Вот именно, что ничего. Я раз иду, а под мостом (через Мезень) стоит этот студент,—его фамилия немного бабья: Рожанский,—ежится, ждет. „Кого?"—спрашиваю. Врет: „Никого". Я сплюнул с моста, пошел дальше. Навстречу—Юличка... „Куда?"—спрашиваю. Тоже врет: „Никуда".—„Вот,—резюмирую,—совпадение: а под мостом Рожанский трусится от холода". Вдруг она вошла в гнев: „Так это он вам про меня наговорил? Да как он смеет, да какое у него основание меня ждать? Да я вот на-зло теперь не пойду к нему на свидание, пусть себе под мостом „трусится"! На-зло ему, пойду пить чай к Моисею!" Я не успел с ней как следует объсниться: мне тоже не хотелось особенно-то, чтоб у Рожанского уши отмерзли из-за нее. Но она фыркнула на меня и пошла к Моисею пить чай. А Рожанский до сих пор думает, что это я у него из-под зубов... и теперь аж не кланяется со мной. А завидит, так перебегает на другую сторону. Вот тебе и женщина, и любовь, и движущая сила!

Юрий закурил трубку. Сергей понял, что Юрий иронизирует над жизнью, потому что она не идет так, как он хочет...

В конце широкой улицы, упирающейся в близкий белый зимний горизонт, показалась ловкая фигура Клима в полушубке, руки в карманы, шапка набекрень. Он шел вперевалочку и ноги ставил немного косолапо, как медведь, но походка была легкая и быстрая.

— Эх, здорово!—приветливо сказал Ефим.—Пойдемте в

тайгу гулять. Кажется, самоеды приехали, юртами расположились недалеко.

— Я у них в прошлом году был,—сказал Юрий.

— Я нынче тоже хочу по тем же делам, по которым ты у них был в прошлом году.

— Лонись, как говорят здешние. („Лонись“ на языке северных крестьян значит—в прошлом году.)

— Вот именно „лонись“, да только у тебя лонись-то ничего не вышло.

— Я совсем было сговорился, да меня Гаяс предупредил и удрал с ними аж до самой Вологды.

— Вот и мне бы...—Ефим осторожно огляделся вокруг себя.—У тебя там никого в избе-то нет?

— Пусто,—ответил с грустью Юрий, показывая гармошкой на зияющую пустоту своего жилья.—Ты бежать собираешься?

— Угу.

— А ведь хотел оставаться?—заметил Сергей.

— Нет, я пришел к другому выводу. Не хочу я, подобно „святому семейству“, изучать французский язык да историю философии, да Ферворна, да спорить о Богданове и о Махе. Я без массы—как рыба без воды.

Юрий бесовски подмигнул:

— И „она“ там ждет.

Ефим добродушно пятерней мазнул по губам.

— Нет, это правильно,—примиряюще заметил Сергей.— Я тоже собираюсь удирать.

— Чорт возьми, тогда и я тоже! Ты из какой ссылки бежишь?

— Я из третьей,—ответил Сергей.

Ефим отечески его по плечу:

— У Сережи, брат, нога набита на побегах. Молодец!

— А что ж!—ответил Сергей.—Столыпинский режим хотя и строгий, да, на наше счастье, дураков хватит в России: всегда проскакивал без сучка, без задоринки.

— Тебе легче, а мне каково с гармонью-то? Жаль ее оставить.

— Конечно, трудно, если ты обвешен всякой дрянью. Гармонь! Возьми еще самовар, корыто... Надо летать, чтоб ничего не было жаль, ровным ровно.

— Полно, у самого там невеста, у этого тоже,—сказал Юрий, показывая на Сергея.—У вас это будет потяжелее корыта. У меня что—одна музыка.

— Ты, гляди-ка, посинел весь. Закрой окно, пойдем,—сказал Ефим.

Решили прежде зайти за Гаясом. Так как он один раз уже удирал с самоедом, то про него шла слава, что он с ними хорошо сговаривается. К тому же—татарин.

Гаяса, как и следовало ожидать от уфимского татарина, застали за чаем. Он сидел за белоснежным столом и нежно, с любовью, весь истекая потом, тянул чай из чашки с золотым ободком и золотой розой. Чай был ароматный, вся комната была им пропитана. На столе чинно и торжественно были разложены разных сортов баранки. Самовар гудел, как отдаленный паровоз; перед ним—чайник, прикрытый теплым „петушком“, купленным уже в Мезени, в мещанской лавочке.

Гаяс был отзывчивый товарищ, приятный собеседник, и тем не менее от всех других товарищей он был на каком-то почтительном расстоянии. Все это чувствовали. Может, у него был возраст такой: требовал домашнего уюта, налаженного хозяйства, удобств. А так как он был холост, то принужден был сам за собой ухаживать. И на эти ухаживания и ублажения себя уходили все его лучшие силы. Ему ведь было под сорок. С Гаясом все разговаривали только на темы самые серьезные, следовательно все ему были далеки, ибо не открывались перед ним своими интимными и сокровенными сторонами. Да и сам Гаяс словно побаивался, как бы не заговорил с ним кто, из бестактности

или неосторожности, на „тонкие" темы. Во всяком случае он старался всегда руководить беседой и держал ее на определенном уровне.

На этот раз он заговорил с товарищами о полицейском режиме в Мезени. Гаяс считал, что здесь самые суровые условия потому, что в этом краю было мало настоящих политиков. Все дело, по его мнению, портили так называемые „общественники", то есть крестьяне, высланные по приговорам сельских обществ. Однако на самом деле из числа общественников было много политиков. Высылки по приговорам обществ были диктуемы полицейским начальством, которое именно таким образом хотело освободиться от неспокойных элементов в деревне.

Тут было и другое намерение: заранее дискредитировать эти „неспокойные" элементы в глазах крестьян. Поэтому официально такие высылки мотивировались какими-нибудь уголовными деяниями: попытка украсть лошадь, рубить незаконно лес, убрать чужое сено и т. д. Однако Гаяс был невысокого мнения об общественниках.

Ефим, Сергей и Юрий отчасти соглашались с ним, что действительно, есть некоторые черты режима в Мезени, против которых надо восстать. Юрий возмущался тем, что каждое утро стражник обходил ссыльных, осведомляясь „о здоровьи". Как в тюрьме. Ни в одном уезде такой проверки не существует. При этом стражники врываются грубо, рано, в валенках, пытаются, если спишь, пошарить на столе в бумагах,—вообще не ссылка, а целая каторга. Юрия поддержали все и решили, что нужно в самом деле дать отпор полицейскому хамству.

Тут же был намечен такой образ действий: все ссыльные запираются на несколько дней в своих жилищах и на все стуки и домогательства открыть дверь—отвечают молчанием. Если возмущенные стражники решаются ломать дверь—пусть: этим будет нанесен убыток несчастному обывателю и, следовательно, вызван конфликт между населе-

нием и властью. Эту линию ссыльные должны вести с истинно революционной настойчивостью до тех пор, пока исправник Лапин (толстый, невысокого роста мужик с длинной пегой бородой, бессмысленными перепойными глазами, без капли в лице хоть чего-нибудь человеческого) не отменит визитов стражников по квартирам ссыльных. Ефим, Юрий и Сергей взяли на себя заботу переговорить с остальными товарищами, вовлекая в революционное предприятие и общественников (от Гаяса сие намерение было скрыто), и добиться единодушного решения всей ссылки.

Политики в общем делились на три группы. Во-первых— та, которую Ефим, а за ним и Юрий, а за ними и Сергей называли „святое семейство"; к ней примкнул и Гаяс. Во-вторых, так называемые „французы", то есть группа, где изучался французский язык по самоучителям и по некоторым сведениям Моисея, бывшего в Америке, знавшего английский язык и немного, как соседний с английским, французский. У этой группы была своя „обеденная" коммуна, так же, как и в „святом семействе". Только Моисей иногда шатался то туда, то сюда. Ядром третьей группы были гартмановцы—Ефим и Юрий. У этой группы была тоже своя коммуна по обеду. В этой коммуне больше всего ели сайду и пикшу, дешевую вонючую рыбу, соленые огурцы и моченые яблоки. Сергей примыкал к этой группе. Но когда обнаружилось, что он знает французский язык и даже живал в Париже, то его стали приглашать к „французам", с которыми он одно время занимался. Одиночками были по большей части общественники. Самым заядлым одиночкой из них был армянин, сельский учитель, горячий и лукавый человек. Он причислял себя к дашнакам. Синеглазый студент Рожанский жил как бродяга: он то обедал с гартмановцами, то у „французов", а чаще всего просиживал в „святом семействе". Его недолюбливали, и сами не могли понять—почему.

Когда однажды в обеденной коммуне ели хорошо отмо-

ченную и вкусно приготовленную треску, синеглазый студент сказал Ефиму:

— Если протест, который вы предполагаете организовать, должен быть проведен всеми ссыльными, то едва ли это выйдет. Среди нас есть один, которого лично я подозреваю в том, что он служит в полиции.

— Кто это такой?—внутренно встрепенулся Ефим, но внешне просто осведомился.

— Армяшка,—прошипел ему в ухо синеглазый.

Речь шла о дашнаке. Действительно, поведение его было необыкновенно. Он казался остервенившимся на весь свет и слыл беспокойной личностью, постоянно гонимой из квартир, вечно ищущей угла и заработка.

— Во-первых, почему вы его называете „армяшкой“?— с достоинством говорил Ефим.—А во-вторых, какие у вас основания?

— Основания? Извольте! Прежде всего мое, никогда еще мне не изменяющее чутье, далее—неясность его личной жизни,—мы не знаем, с какой он женщиной живет,—и наконец вы и сами знаете, что нам всем отказали в одежных[1], а он получил.

— Что нам отказали—это мне известно, а откуда вы знаете, что он получил?—говорил Ефим, аппетитно жуя треску.

— Вот еще! Для кого это тайна? Любой чиновник полицейского управления подтвердит вам мою информацию.

Весьма возможно, но мы с ними не разговариваем и не доверяем им.

— Я тоже с ними не разговариваю. Но он сам болтнул своей хозяйке, а она—моей, а от нее—я...

— А мне было бы неловко с мезенской мещанкой говорить или выслушивать что-либо, как-никак, о товарище.

— Я, собственно, не могу ей закрыть рот.

— Значит, вы так себя перед ней поставили.

---

[1] Денежное пособие, выдаваемое ссыльным на приобретение зимней одежды.

— Позвольте-ка, однако, речь идет не обо мне, а о дашнаке.

— Если бы он был провокатор, то полиция нашла бы способ так его компенсировать, что никакая хозяйка не узнала бы, и уж во всяком случае не одежным пособием платят за провокацию.

— Ваше дело и право не верить, но я как член колонии ссыльных вношу конкретное предложение не включать армянина в число товарищей, организующих протест.

— Посмотрим.

— То есть как „посмотрим“, когда я сделал слышанное вами предложение?

— Если вы настаиваете, создадим комиссию и проверим ваши сведения.

— Я решительно против комиссии, ибо для меня дело ясно.

— А я—за, потому что мне совсем неясно... Ты как, Юрий?

— Да уж конечно, если сделано заявление, без комиссии не обойдешься.

— Дело Азефа рассматривали по крайней мере десять комиссий.

— А вот там, в комиссии, поговорим!—угрожающе резюмировал Ефим.

Накануне намеченного выступления Юрий встретил дашнака на базаре. Армянин продавал свое зимнее пальто на вате, старенькое, истертое. Юрий отозвал армянина в сторону и добросовестно, откровенно объяснил ему, что с завтрашнего дня ссыльные должны запереться от стражников, чем бы это ни угрожало. Армянин посмотрел огненными глазами по сторонам и прохрипел:

— Это святая мысль, товарищ, это правильно. Я напишу своему приятелю на Печору, там тоже варварские порядки.

— Писать-то еще погоди, а то разгласишь раньше вре-

мени, да и своего приятеля подведешь. Имей в виду, что и по отношению к нам будут репрессии, мы все рискуем. Нужно быть готовым, не падать духом...

— Да что ты со мной торгуешься? Я прежде тебя на все готов. Не пропадем. Имеем, как и ты, две руки, две ноги и всего одну голову, достаточно—не пропадем. А вот если нас рассылать будут по разным отдаленным местам, не купишь ли у меня мой жар-халат?—армянин тряхнул перед Юрием пыльным пальто.— Сколько дашь, а?

— Прости, друг, мне не нужно. А у тебя что, с харчами трудно?

— Эге. Семья на Кавказе, куча детей, и каждый требует, жить хочет. До того довели меня, что я пришел на-днях в полицию, для храбрости белого кахетинского (водка) выпил, конечно, и с большого размаха по столу—бац!—и пошел кричать. Кричал-кричал, как шайтан, кричал. Ультимативно сказал: пока не дашь одежды—не уйду. Вырвал в конце концов у подлецов способие.

— Нехорошо, брат, индивидуально действуешь.

— Тебе сколько лет? Двадцать? Вот ты и не индивидуальный. А мне сорок пять. Меня из вас, наверное, никто не поймет.

— Все-таки нехорошо. О тебе могут чорт знает что подумать...

— Думай, пожалуйста думай! Кто меня уважает, никогда не будет „думать“, а кто не уважает, на того я чихаю с высот Казбека... Слушай, купи жар-халат, недорого прошу, ей-богу! Или вот шапку. Или, знаешь, что у меня есть?— Совсем новая колода карт...

В назначенный день утром началось пассивное сопротивление. Ни один ссыльный, в том числе и армянин, не пустил стражника. Кампания началась дружно.

Исправник распорядился не выдавать ссыльным почты. Начальник почтовой конторы опротестовал это решение как

незаконное. Начался конфликт в самом гнезде администрации. Почта победила. Исправник рассвирепел и дал приказ взламывать двери, арестовывать бунтовщиков и высылать в разные, еще более, чем Мезень, отдаленные места.

Впрочем, двери начали ломаться, можно сказать, сами собой, еще до приказа исправника. Прежде всего это произошло у армянина. Он не только не открывал двери стражнику, как другие, но вследствие своего темперамента осыпал стучавшегося за дверью стражника, а за ним и всю полицию во главе с исправником и всем императорским домом, заодно и божью троицу всевозможными и невозможными ругательствами. Он довел стражника до остервенения, и тот раскромсал дверь шашкой. Спиной к нему сидел голый армянин перед зеркалом и выстригал в ноздрях волосы. Армянин был арестован и сослан в Печорский край (поближе к его приятелю). Так был прорван фронт. Двери были взломаны. Некоторые стали открывать сами. Всех решено было разослать, рассеять по необъятным тундрам и лесам. Ефима отправили в Погорельцы, Сергей, Юрий, и их приятель Марак пошли в Долгую Щель на Канин полуостров, синеглазый попал в Холмогоры (его все считали счастливцем, потому что Холмогоры с точки зрения Канина полуострова или Печоры—все равно, что блестящий Петербург). Все „французы"—в Кемь. Мария и Юличка временно, до лета, из уважения к слабости их пола, были оставлены в Мезени. Эффектнее всех вышло у Гаяса. Когда вскрыли его комнату, его в ней не оказалось. Все поиски по городу были безрезультатны. Совершенно очевидно,—Гаяс бежал. Он, повидимому, сговорился с самоедом. И какое прекрасное время выбрал бежать! А может быть, и протест, и в особенности самую форму его он предложил в целях задуманного побега. Во всяком случае ловко законспирировал свое намерение.

— Вот блестящий восточный интриган!—говорил с завистью Сергей Юрию, когда они оба полулежали на драных

дровнях, тыкаясь затылками в сухощавый зад мужичонки, безносого, больного, который с унылыми взвизгами гнал пару кляч все севернее и восточнее, к Ледовитому океану.

А тем временем Гаяс в тех же снежных пространствах двигался все южнее и западнее, к берегам других, лазурных и теплых морей.

ГЛАВА IV

В ПЛЕНУ У ШПИКОВ

Прошло много времени, прежде чем Сергей наладил корреспонденцию с Марией. Она жила в Вологде. Под эгидой либерального губернатора режим там был нетяжелый. С большим трудом Сергей восстановил связь и со своим другом Звановым. По окончании вологодской ссылки Званов жил в Петербурге и учился в политехникуме на экономическом отделении. Слушал лекции Чупрова и Струве. Как и предполагал Сергей, Званов не терял ни одной минуты драгоценного времени и по приезде в Питер приступил немедленно к партийной работе. Об этом Званов писал намеками, и только духовная близость, особенное душевное взаимодействие помогали Сергею понимать в точности „эзоповские" письма друга.

Подумать только, в городе боевого российского пролетариата, в самом революционном из российских городов Званов ходит, действует, соприкасается с рабочими, живет у первоистоков классовой борьбы, у самого ее ядра... Сергей реально представляет себе движения, речи, улыбки, слова Званова. Нет, нужно любой ценой покончить со снегом, с тьмой ужасающей северной тишины и ринуться туда, где фонари больших улиц, где за каждым углом опасность, где пролетариат готовит великую человеческую бурю, великий мятеж, где, может быть,—наверное даже,—будет и Мария. Сергей напишет ей письмо, позовет ее, и она немедленно пойдет вместе с ним, как пошла Перовская с Желябовым.

Это было там же, в том же таинственном, дымном и туманном Петербурге. И вот тогда, в процессе борьбы, на каком-нибудь нелегальном собрании, где-нибудь у Нарвских ворот или за Путиловской заставой Сергей познакомит Званова с Марией-товарищем, с Марией-женой. Из-за одного этого стоит подвергнуть себя риску. Сергей к тому же мастер на побеги. Ему—не впервой.

Ведь вот Гаяс каким молодцом удрал! Пример Гаяса не давал даже спать спокойно Сергею. Чувство зависти к борющимся и погибающим, стремление к Марии, ужас еще несколько лет оставаться под заунывными ветрами тундры, потребность быть не хуже других, горячая жажда приложить свои силы к борьбе, сознание ответственности в какой-то мере за борьбу,—словом, сложное сплетение всех этих вихрей во внутреннем мире Сергея толкнуло его к смелому шагу.

27 мая он вышел пешком из деревни в тундру, где нет дорог. В этом краю зимой и летом ездят только по рекам: летом на карбасах, зимой на санях. Весенней и осенней распутицей—совсем не ездят. Сергей пошел без дорог, по компасу.

Способность без критики относиться к своим увлечениям есть колоссальная двигательная сила. Сергей выбрал путь такой: пешком из Долгой Щели до городка Пинеги; это 370 верст; там маленьким пароходом по реке Пинеге до Холмогор; оттуда, уже на большом пароходе—до Вологды. В Вологде—Мария. Сергей, конечно, увлечет и ее. В Питер они явятся несомненно вместе.

Только бы тундру пройти!

Вышел Сергей ранним утром, в пять часов. В тундре было еще много снега.

День не кончался, потому что солнце не заходило за горизонт, над ним оставался красный солнечный сегмент. Он, став узеньким, вдруг в тот же момент опять начинал расплы-

ваться в большое, сначала красное, а потом золотое солнце. Ночи не было.

Так кончился и второй день. В болотах по тундре лед становился тоньше.

Третий день. В тундре встречалась местами засасывающая, липкая грязь. Кое-где все еще попадался лед, но совсем тонкий, как в канавах мартовскими утренними заморозками.

На четвертый день Сергей попал в полосу леса. Это было хорошо, родно, по-русски. А страха перед зверьем не было. Страх отнят был отсутствием ночи. Без нее ничего не страшно.

На пятый день в лесу Сергей увидел одинокую маленькую лачугу. Лачуга была сложена из толстых бревен. Посредине земляного пола были в кучу сложены черные закоптелые камни,—должно быть, остатки очага. Зимой кто-то тут жил наверное. Что мог делать человек в такой глуши, и что это был за человек? Может быть, он и умер здесь или растерзан медведем и потом расклеван птицей. Страшная, черная глушь! Посмотрел Сергей во все стороны. Высокие сосны, безмолвные и темные зеленые ели. У подножий их трава и морошка. И все тянется к солнцу в неслышной упорной борьбе за жизнь, то есть за солнце. Несомненно, тут жил человек. Может быть, несчастный в жизни, ушедший от людей. У русских людей это—как обычай какой: чуть что не потрафило, не повезло—в леса. Овраги для него гостеприимнее человеческих жилищ. В русской истории бывало, когда толпами, крича друг другу: „Бегим!“, братья и сватья устремлялись в заволжские, заокские, вятские, пермские и архангельские леса. Европеец спасался от врага тем, что утолщал стены своих домов и крепостей, утончал оружие защиты, а у нас лесные пространства надежнее всяких стен и пороха.

Долго раздумывал Сергей на перекрестке путей какого-то неведомого человека, который бежал в леса, чтобы отделиться от людей. Думал и о собственном пути, которым

он бежит из леса к людям. Перекресток странный, необычный.

Сергей не захотел разрушить очага в бывшем жилище прошедшего здесь человека. Сергей оборвал от подола своего поношенного непромокаемого капюшона, купленного еще в Париже, лоскут. Завернул в него спички. В спичечную коробку вложил записку: „Всякому бродяге, который здесь пройдет, от Сергея привет и огниво“.

На шестой день пути Сергей на краю леса увидел луговую площадку, и на ней—стреноженную лошадь. Ого, близко люди!

На седьмой день у большой реки встретились и люди: это были крестьяне-плотовщики в холщевых рубахах, как волжские чуваши. У них Сергей поел. Но им о себе ничего не рассказал, да и они мало пытали. Русский человек к бродяжничеству имеет деликатное отношение и считает чересчур пытливые вопросы к явному бродяге непристойными.

На восьмой день Сергей завидел макушку пинежской церквенки. И—к ней, туда, скорее! Больше—ни страха, ни усталости.

И только тогда, когда Сергей переступил порог комнаты одного товарища, в которой был тихий уют и на полу лежали крест-накрест пестрые половики,—он вспомнил, что восемь суток не спал. И тут же объяснил себе, почему: потому, что не видел на своем пути ночи.

Сергей свалился, как сноп, и, не разбирая день ли, ночь ли, спал долго, болезненно, сопя и вздрагивая, как человек, намерзшийся в снегу и вдруг попавший к трескучему пламени печки.

Когда Сергей почувствовал себя вторично родившимся на свет, он стал заботиться о дальнейшем пути. Товарищи достали ему высокие крестьянские бахилы [1], плетеный кузо-

---

[1] Болотные сапоги.

вок, как у плотников, топорик за пояс, махорки. А в карман, на всякий случай—хороший револьвер и немного денег.

Ночью Сергей покинул приют товарища и до утра ждал на маленькой пристани буксирного пароходишки. На нем он устроился в люке, у матросов.

Когда к вечеру подплыли к Холмогорам, Сергей совсем вошел в роль плотника и уже не спеша, тяжело ступая, водрузился на большой пароход и устроился на трясущейся железной палубе, около машины, спиной к котлам.

Всю ночь сладко дремалось ему в расслабляющей жаре под убаюкивающее пыхтенье парохода. Во сне он видел Марию. К утру, когда открыл глаза, в нем вдруг проснулась страшная ревность к неизвестной ему марииной жизни.

К полудню приехали в Великий Устюг. К здешним ссыльным у Сергея была явка. Воспользовавшись тем, что пароход стоит у пристани два часа, Сергей направился к товарищу Клавдии. У нее Сергей застал кучу товарищей, большинство—питерцы, рабочие. Во всей квартире стоял бестолковый спор большевиков с меньшевиками. Эсеров не было. Все так увлеклись спором, что не заметили появления Сергея. Обратил он на себя внимание только тогда, когда один низенький рабочий, путиловец, меньшевик, задыхаясь махорочным дымом, крикнул:

— Стой, ребята, новичок, и кажется—меньшевик!

— Ничего подобного!—вступил Сергей в беседу.

Познакомились. Весело ели треску. Снабдили Сергея и денежным подкреплением и новыми газетами, которых месяца три не видал Сергей. В Пинге ему было не до газет.

Несмотря на усердные просьбы Сергея, вся ватага спорящих и смеющихся ребят пошла его провожать на пароход. Конечно—конспиративно, то есть Сергей шел отдельно, а они сами по себе, будто так, чтобы только посетить пароход.

Солнце, отблестев лучами на тихих водах Северной Двины, медленно пошло к уклону, за зеленый лес, за мягкие песчаные повороты и отмели. Вода разрумянилась уходящими вдаль полосами. Появились такие манящие дали, каких днем не было. Сидя внизу, у машины, спиной к котлам, Сергей только в рамке отворенной на волю двери видал эти дали и розовеющие переливы. Всего простора и прощания солнца с землей ему не было видно. Сергея стало манить выйти на верхнюю палубу и обозреть ласковые, понятные ему горизонты.

Он знал, что пассажирам нижней палубы, черному народу, едущему четвертым классом, не полагается выходить наверх. К тому же показывать себя лишний раз было неконспиративно. Ведь на всех этих пароходах всегда возможно наткнуться на шпика. Они тут шмыгают, выглядывая, нет ли бегущих ссыльных. Были случаи, Сергей о них знал, когда товарищи, счастливо пройдя леса и тундры, попадались в руки полиции именно на пароходах, вокзалах, пристанях. Сергей даже как будто заметил двух подозрительных. Один—высокий, с черной бородой, как у Столыпина, одет в визитку и вообще „с иголочки", даже в галстучной булавке какой-то огромный голубой камень. Другой—в сером ватном кафтанчике, тоже высокий, но грязный, с заскорузлыми руками, будто мелкий лабазник. Подозрительны они Сергею показались оттого, что, несмотря на их как будто классовую разницу, выраженную в костюмах, они все время держались вместе, подходили часто к буфетной стойке, выпивали по рюмке водки, закусывая огурцом, и дружески гоготали, похлопывая один другого по спине. И еще подозрительным было то, что они ни о чем деловом не говорили. Разговор их состоял или из непонятных Сергею каких-то намеков или из рассказов—анекдотов, какими заполняют свой досуг дежурные околодочные в участках. Слишком знаком Сергею был характер таких разговоров.

Все это так. Но, с другой стороны, может быть, у Сергея

излишняя настороженность, подозрительность, превращающаяся от долгих нелегальных скитаний в болезнь.

От таких сомнений и от машинного жара, того и гляди, разболится голова. Пусть риск, а нужно выйти на свет вольный, пока не закатилось солнце.

Сергей вышел.

Вечер был лучезарный. Нежные извивы берегов манили вдаль. То тут, то там по широкой реке зажигались маяки, зеленые и красные, бледные в непогасших лучах заката, как отражение первых на небе звезд. Пенные гребни от бортов парохода расстилались по реке мягко, как разбросанные, тонкой работы, кружева. Эх, показать бы все это Марии! Что бы она сказала, как бы порадовалась... Сергей сел на скамеечку и, вспомнив, что он в газетах, взятых в Великом Устюге, нашел прекрасное стихотворение Федорова, достал „Русские ведомости“ и еще раз стал перечитывать:

Сумерки весенние, нежность навевая,
Улицу окутали в голубой туман.
Улицей шла девица, тихо напевая,
Шла, качаясь стройно тихой песне в лад...

Вдруг Сергея что-то словно кольнуло. Он поднял глаза. На него в упор смотрели четыре глаза—того барина в визитке и „лабазника“ в рыжих сапогах. У последнего, только сейчас заметил Сергей, были густые жесткие жандармские усы. Эти два субъекта нарочито и демонстративно смотрели на него в упор. А кругом стояли, сидели, беседовали и дремали тихие северные обыватели: поп, борода которого раздувалась ветром, как у Льва Толстого в картине Репина „Толстой на пашне“, с ним румяная беременная попадья, два татарина в тюбетейках, от которых почему-то пахло свежими анисовыми яблоками,—может быть, потому, что у них щеки были как яблоки,—учительница с „незаконным“ ребенком на руках, лесопромышленник с английскими усами, в кожаной куртке,—все такие обыкновенные, у всех обыкно-

венные заботы. А Сергей? Зачем ему понадобилось именно сейчас читать газету? Ведь совершенно невероятно, чтобы плотник, сырой деревенский мужик с забытого людьми Севера, читал профессорскую газету „Русские ведомости"! Это должно было броситься в глаза опытным соглядатаям.

Столько трудов положено на побег—и такое легкомыслие! Все из-за весенних сумерок...

Пока бранил себя Сергей, к нему быстрой, нарочито пугающей походкой направился субъект с жандармскими усами. Он сел рядом, вплотную с Сергеем, хотя мест было и на этой и на других скамейках достаточно. „Лабазник" прижался как раз к тому карману, где у Сергея покоился револьвер. Таким путем шпики, не будучи уверены, что наткнулись на беглого ссыльного, испытывали, проверяли свои подозрения. Если Сергей смутится—значит, лови его, а там посмотрим, кто он. Поэтому Сергей решил во что бы то ни стало не смущаться и виду не подавать, что на него обращают внимание. Он опять подставил к глазам газету, а сам твердо решил: если его попытаются схватить, он будет отстреливаться и бросится в реку. Сергей—хороший пловец, доплывет до берега.

Когда совсем стемнело, Сергей скомкал газету и положил ее в тот карман, где не было револьвера. Другой шпик, одетый барином, так же решительно, как и первый, не спуская глаз с Сергея, направился к выходу с палубы и занял его своей толстозадой фигурой. Мечтательные маяки на реке, зеленые и красные, стали яркими, как вымытые стеклянные шарики. В небе проступили звезды. С лесных берегов потянуло свежестью.

Сергей уже не любовался ничем. Он охвачен был скрытым волнением. Тысячи планов, как вывернуться из ловушки, теснились в его голове. Сергей встал и, как ни в чем не бывало, направился к выходу, загороженному „барином". Тот посторонился, пропустил Сергея, но внимательно, с

головы до ног и с ног до головы прощупал Сергея наглыми глазами.

Утром Сергей видел, как шпики в буфете выпивали водку и не платили: должно быть, их тут знали. Значит, нет никаких сомнений,—это шпики. Повидимому, они решили Сергея сдать полиции на какой-нибудь крупной пристани. Сергей понял это по тому, как шпики неотступно за ним следили.

У какого-то обрывистого песчаного берега пароход остановился. Команда стала набирать дрова, приготовленные для парохода и сложенные на берегу штабелями.

Сергей лежал в трюме и смотрел на берег в круглое оконце. Он видел, как около дров по берегу гуляют „жандармские усы". Шпик заметил в окне Сергея и начал глазами отсчитывать, против которого окошка помещается Сергей. Шпик отсчитывал от кормы до окна Сергея и от окна до носа парохода. Это нужно было для того, чтобы без ошибки ввести полицию прямо к тому месту, где находился Сергей. Стало быть, он окончательно в западне. Положение почти безвыходное.

Первая большая пристань—Тотьма. Городок, где Сергей вместе со Звановым был в первой ссылке. Там Сергея все знают. Там трудно будет уйти. Тотьма будет завтра к обеду. А до утра—ни одной пристани.

Революционная работа, Званов, Мария... Нет, нужно вырваться!

Рано утром пароход подошел к небольшому, но живописно расположенному на холме селу Берковец.

Вместе с другими пассажирами Сергей устремился на берег, к палаткам и ларькам, где продавалась разнообразная снедь. И, конечно, сейчас же за собой Сергей почувствовал „барина" и „лабазника". Они положительно не спускали с него глаз. Пассажиры толкались у палаток. Кто селедки покупал, кто зажаренного куренка, кто сбитень, кто печонку, кто глотал баварский квас, кто освежался пи-

вом и деревенской брагой, кто набивал в карманы яйца, вареные вкрутую. Пыль поднималась клубами из-под топчущихся ног и от тарантасов, увозивших немногих пассажиров, слезших здесь. Как им завидовал Сергей! А попробуй он двинуться к тарантасам, как будет немедленно схвачен за шиворот, и опять все сначала: и тюрьма, и баланда, и на дровнях в снежной пустыни, и ямы лесные, черные...

Пароход предупредил пассажиров первым гудком.

Пассажиры начали торопиться. Совали продавщикам медные пятки, серебряные гривенники. Сергей накупил воблы, орехов, печонки, колбасы, мятных пряников, он покупал беспорядочно, как в лихорадке. Около каждого плеча Сергея—по шпику. Как же не быть лихорадке!

Второй протяжный гудок.

Пассажиры торопливо считали полученную сдачу. Лавочники—выручку. У Сергея все вываливалось из рук. Он требовал еще бумаги и еще куренка, и еще хлеба, и еще...

Третий, окончательный гудок.

Все пассажиры опрометью бросились к мосткам. Матросы, слегка матерясь, приготовлялись убрать мостки. Сергей, нарочно не заплатив ни копейки, прижал все купленное к груди и бросился к мосткам в общем потоке. А сзади него—шпики. Сейчас же вслед за Сергеем кинулся разгневанный лавочник.

— Деньги! Деньги не заплатил, сукин сын! Деньги давай!..

И в тот момент, когда шпики перебежали мостки, а Сергей, сам искусно задерживаясь, понемногу отставал, лавочник крепко ухватил Сергея за ворот кафтана. Матросы со смехом убрали мостки. Шлепнулась в воду носовая чалка, шлепнулась за ней средняя, шлепнулась кормовая. Пароход зашипел, заработал колесами. Шпики, не понимая в чем дело, сбитые с толку, торопливо выбежали на верхнюю палубу, и разинув рот, смотрели, как тормошит Сергея

лавочник. Тут, вероятно, шпики усомнились в Сергее: политик ли это? не воришка ли мелкий? Шпики растерялись и не решились остановить пароход. Да и к чему? Они видели, как от села с горы, на помощь лавочнику и на погибель Сергею, бежит деревенский стражник, поддерживая рукой болтающуюся у сапог „селедку“. Стражник разберет. Во всяком случае—странное, непонятное для шпиков происшествие.

А Сергей, увидав, что пароход важно отплывает, что шпики стоят на палубе в полном недоумении и нерешительности, готов был плакать от радости и не замечал, как лавочник его крестил всевозможными русскими и даже нерусскими словами. Радость Сергею спирала дыхание. Он поспешил, однако, объясниться с лавочником. Ведь самое главное—что Сергей теперь вырвался из плена шпиков.

— Вы не горячитесь,—лепетал Сергей лавочнику.—Я забыл вам заплатить. Извольте, я заплачу вам.

Чуть-чуть не сказал лавочнику; „заплачу вдвойне“. Но передумал, и даже, наоборот, стал маскироваться:

— Из-за ваших денег я пароход пропустил. Там у меня вещи. Это безобразие!—говорил Сергей, и никак у него не получался печальный тон, подобающий месту и времени.

Подбежал задыхающийся стражник. Он тоже схватил Сергея за шиворот. Еще не зная в чем дело, а так, на всякий случай.

Сергей—стражнику, с полным почтением:

— Господин стражник, я растерялся. Я забыл уплатить, но теперь я уже все уплатил. И буду ждать другого парохода. Вы не знаете, когда?..

Стражник, задыхаясь, хрипло:

— Ты кто? Пашпорт, пашпорт покажи!

— Кузовок мой на пароходе, и паспорт там, помоги настигнуть.

— Куда ехал? По каким делам?

— В Тотьму, на заработки, я плотник. Весна—самое подходящее время для нас.

Лавочник, получив деньги, отходил к своему шалашу, и его ругательства колыхались в воздухе, как отдаленные раскаты прошедшей грозы.

— Как же мне быть, господин стражник?—спросил Сергей, тем временем и сам соображая, как же, в самом деле, быть.

— Иди ко мне в работники на неделю. А там отпущу. Заработаешь, дальше поедешь.

— А сколько положите?

— До Тотьмы тебе хватит.

— Спасибо. Да вот только мне струмент жалко. Много его у меня осталося там...

— Купишь. Заработаешь—купишь. Ты вот видишь: раз изба, два и три, за ней береза. И за березой в аккурат мой дом. Туда и иди.

— Слушаюсь. Дай, маленько отдышусь.

— Спросишь стражника Кобылкина, тебе на селе укажут.

Сергей приторно, по-деревенски поклонился стражнику в пояс. Чин важно зашагал в гору.

Выждав, пока широкая спина стражника не скрылась за холмом, Сергей пошел в противоположном направлении вдоль берега Сухоны, вниз, к Тотьме.

До Тотьмы ни много, ни мало девяносто верст. Не дойти. Да и стражник может спохватиться, нагнать. Сергей решил дойти лишь до ближайшей деревни, а там взять лошадей.

ГЛАВА V

МАТРЕНА

Было к полудню. Солнце жгло спину. Пройдя перелесок, Сергей очутился на зеленом лугу. Вдали виднелся полосами вспаханный бугор. Сергей шагал весело, без усталости. Тропа его пути пересекла полосатый пашнями холм, и опять

пошли приречные необъятные луга с душистой травой, с цветами, букашками, бабочками. Все эти крылатые и некрылатые многоногие существа копошились, славили зеленый свой мир и золотое солнце, которое они все любили, но про которое решительно ничего не знали.

Луговая стежка вела Сергея к показавшемуся вдалеке, в волнах мягких зеленых ковров, селу. Золотая луковка сельской колокольни сияла, как намасленная, и будто щурилась от солнца.

Впереди Сергея по стежке шла, медленне чем он, женщина. На солнце, среди пышного луга, в месяц май для человека суровой судьбы женщина—это нечаянная радость, почти что счастье.

И словно нарочно, женщина остановилась, поставила в траву бурачок и сдвинула на шею пестрый платок,—должно быть, жарко стало. Сергей различил прямой ряд черных, как деготь, волос и смуглое узкое лицо, бордовые губы и густые брови над большими карими глазами. Когда Сергей поровнялся с ней, она подпоясывала запон. На Сергея от нее пахнуло, как из печки, сразу всеми русскими полями и ветрами и цветами. Будто она была сложена из всего этого. Сергей не мог шагу дальше сделать. Он заломил на затылок кепку, сунул от смущения правую руку за веревочный пояс и спросил, сам не понимая своего вопроса:

— Вы не знаете, почему это так жарко? И еще, главное, достану ли я лошадей в селе?

— В каком?—глубоким голосом спросила она и одернула сарафан.

— Вон в том,—невнятно ответил Сергей, тыча куда-то дрожащим пальцем.

— Пошто лошадей-то?—ласковее спросила женщина, как шелком по телу погладила.

— Ехать мне надо, далеко.

— Далеко?—переспросила, помолчала.—У Запона найдешь. Мужик он самый богатеющей на все село. Тройку даст.

— Гм...

Сергей споткнулся. Что же дальше-то? Неужели для того только он и остановился, чтобы про какого-то Запоца узнать?

— Пойдемте, может, вместе?

— Чай, и сам не маленький.

Сергей неожиданно выпалил:

— Никуда от тебя не уйду!

Образ Марии на мгновение вынырнул на поверхности помутившейся памяти Сергея и только лишь для того, чтобы еще глубже провалиться и не напоминать о себе.

Сергей шаркнул крепкими ногами по траве. Сергей вплотную подошел к женщине. Теперь ему казалось, что нет на свете ничего. Только он и смуглая сильная женщина. Под ними земля, над ними небо...

Когда Сергей появлялся на свет, молодой, семнадцатилетней его матери было так трудно, что присутствовавший при этом доктор,—человек гигантского роста и саженный в плечах, с лицом оранг-утанга, обкуренными и коротко подстриженными усами и с бесконечной ласковостью и добротой в карих глазах,—спросил отца, что он предпочитает, смерть матери смерти ребенка, или наоборот? Отец не колеблясь ответил, что лучше сохранить жизнь матери, пусть не будет ребенка. Доктор и акушерка приготовились еще в утробе матери разрезать ребенка на части, вынуть кусками и тем спасти женщину. Перед этим косолапый доктор вышел в коридор, остановился, опустив круглую большую седеющую голову, и затянулся два раза сигарным дымом. Поразмыслив еще одну секунду, серьезный доктор Идельсон сказал вслух, но ни кому-либо другому, а сам себе:

— А может быть, наложить щипцы? Роженица—здоровой конструкции, может вынести.

Так и сделали. Щипцами вынули сына. Тонкая черта отделяла жизнь матери от смерти. На третий день у матери

пропало молоко. Младенца стали кормить подсахаренной водичкой. Под мутноватыми серыми глазками ребенка появились большие синие круги. Веки стали закрываться, как у птенца, выпавшего из гнезда. Тот же доктор Идельсон, румяный и неуклюжий гигант с сигарой во рту, констатировал неутешительное: еще несколько часов маленький человечек поборется за жизнь, а потом непременно умрет.

Отец и мать, не понимая от горя приговора, спросили:

— Как же быть?

— Никак,—ответил доктор, заслоняясь сигарным дымом, чтоб скрыться от жадно уставившихся на него взоров родителей.

Мать из-за слез, навернувшихся на глаза, плохо различала, кто перед ней, и мягко переспросила:

— А все-таки?

Доктор втянул голову в свои саженные плечи и развел руками. Промолчав минутку (она была, как вечность), сказал:

— Вот разве только одно: если в течение трех, максимум четырех часов вы достанете кормилицу, деревенскую здоровую бабу,—ну, тогда, может быть, будет хоть какая-нибудь надежда.

— Может быть!—радостно подхватила мать, мельком взглянув в тот угол комнаты, где стояла колыбель с умирающим ребенком.

— Но не наверное,—дополнил доктор.

Отец побежал на постоялые дворы, наспех узнал у мужиков, в каких ближних деревнях есть родившие только что бабы, и отправил своего приказчика в село Кабачище за кормилицей. А без нее—лучше и не возвращаться...

Приказчик был смышленый, рыжий, всклокоченный, как петух, полумальчишка Петька с ненавистной ему самому фамилией Крысин. Поехал он с неохотой, ленью и скептической, кривой улыбкой.

Часов через пять, к ночи вернулся с молодой смуглой

черноволосой красавицей, у которой щеки, как яблоки, горели бордовым румянцем, а большие карие глаза светились добротой женщины и ласковостью матери. Баба была в свежих липовых лаптях и в широком кумачевом сарафане. Длинные черные косы тяжелыми кругами лежали на ее голове под ситцевым платком. Спереди, со лба виднелся посредине головы пробор, скрывающийся под платком, как лесная тропинка под угольчатой стрехой елки.

Баба перекрестилась трижды на образа и, поклонившись на все стороны в пояс, сделала два шага вперед. Одну руку положила себе на живот, другую руку локтем уперла в ладонь первой и подперла как бы в сокрушенной задумчивости щеку. Лицо склонила набок. Ей объяснили дело. Показали на мать, которая, отвернувшись к стене, рыдала тихо и безнадежно, полагая, что сын ее умер. Он, действительно, весь посиневший, лежал без движения в колыбели. Баба спросила, позволят ли ей оставить с нею ее собственного ребенка, рыжего Пашку, ровесника Сергея. Ей сказали, что разрешат все что угодно, лишь бы она оживила умирающего. Баба разула лапти и тихо, в шерстяных чулках, размашистой походкой, как на сенокосе, подошла к колыбели посиневшего младенца. Расстегнула сарафан, достала горячую коричневую грудь с бордовым соском и сунула его умирающему в замкнутый рот. Умирающий слабо пискнул, зашевелился. Дотронулся до соска, облился густым изобильным молоком...

Доктор накинул на широкие плечи старомодную серую разлетайку и ушел. Всю ночь ребенок плакал. К утру стал пить сытное молоко.

Только на третий день кто-то догадался спросить бабу, как ее зовут.

— Матреною,—с почтительным наклоном головы ответила смуглая женщина.

Матрена успешно выкармливала двух мальчуганов. Они сытели и росли.

Матрена прожила год и другой, и третий. Если бы не осталась на четвертый, то, может быть, не была бы так несчастна. Она не доглядела за своим рыжеголовым Пашкой. Он играл близко от топившейся открытой голландки. Пасть ее была огромна и раскалена до ненасытной жадности. Она всосала в разверстую свою огненную пасть Пашку. Злые языки пламени искусали ему лицо, живот, внутренности. Матрена извлекла его еще живым. Но он недолго, может быть, с полчаса жил.

Матрена залилась горючими, горячими слезами. Ей ничего другого не оставалось, как удвоить любовь свою к Сергею. И уж не отдавала его ни под чье влияние. Поэтому в доме все—и мать, и отец, и тетки упрекали полушутя Сергея:

— Ты—мужик, в тебе матренино молоко и воспитание.

Сергей от этого не только не испытывал никакого неудобства, а еще глубже понимал и любил Матрену. Она сделалась для него настоящей матерью. Недаром же мать Сергея постоянно устраивала Матрене сцены ревности из-за сына.

Образ и вся жизнь Матрены глубоко запечатлелись в нем. Для Сергея радостным было все, что напоминало ее, с чем связана была ее жизнь и ее имя...

И вдруг перед ним опять Матрена. Совсем такая же, как та, что дала ему жизнь. Сергей долго, с никогда не бывшей в нем раньше нежностью ласкал вновь обретенную Матрену. Ласкал жадно, жарко, забыв весь мир.

Эту новую, горячегубую Матрену звали Аксиньей.

В обнимку она проводила его до первого плетня своей деревни. Пальцем показала на дом, где можно достать лошадей. Еще раз крепко прижала его лицо к своей вздрагивающей груди. Еще раз прильнула к нему и оторвалась навсегда.

Она смотрела вслед Сергею, пока он не скрылся за

поворотом сельской улицы. Сергей оглядывался. Она помахивала ему нежной смуглой рукой.

Село, куда пришел Сергей, было большое, богатое. Богаче всех был поп, а потом тот самый мужик-ямщик, к которому направила его Аксинья. Мужик прозывался Запоном.

Запон встретил Сергея озорным взглядом бойких глаз. Запон был вихрастый, горластый, должно быть, скандальник и самодур. Рост высокий, шея длиннущая, а головенка маленькая, вертлявая. Лицо курносое, бабья личность. Он не спрашивал Сергея, кто он, откуда и прочее. Ему хотелось знать, сколько лошадей впрягать и сколько Сергей заплатит. Переторжку эту мужик вел весело, с прибаутками и балагурством, словно болтал о пустяках. Причмокивал языком, прищелкивал пальцами. В каждом движении его—ненадежность, неверность.

Когда все было выяснено и договорено и вот бы только ехать, оказалось, что у Запона нет лошадей. То есть они есть-то есть,—как не быть лошадям!—Да только они на луговине, стреноженные ходят: поди, лови их! Сергей упал духом. Отчаяние боролось с темной, тяжелой злобой против кулака Запона. А тот преспокойно сел за хлёбово—редька с квасом. Пригласил и Сергея. Тот сел к столу из вежливости. После ужина Запон предложил Сергею переночевать у него, да только не в избе, а то соседи узнают, а лучше на сеновале, в сарае.

— Я не боюсь соседей,—чай, я не жулик.

И в самом деле, чего ему бояться, когда в этом же селе Матрена, то-бишь Аксинья.

— Знаем мы вашего брата,—ответил вертлявый Запон.— Конечно, ты не жулик, а время такое темное, много тут шалается беглых. Ты тоже, наверно, из ихней шайки. Ложись на сеновал. А утром чем свет я тебя разбужу, и лошади будут. Заплатишь хорошо,—понесу тебя, как на крыльях. Мне кстати и самому надо в город. А что ты беглый—ничего, не бойся. Не выдам. Я всякого сокрою,

который против полиции. Ненавижу этих гадов! Видишь, так-то. Иди на сеновал.

Сергей, неизвестно почему, последовал совету Запона. И странно,—ка́к только уткнулся в душистое пыльное сено, так вдруг почувствовал себя как у родной матери дома, в полной безопасности. Образ Матрены—Аксиньи застилал ему глаза. Она была так нежна, сильна, такая родная, что Мария перед ней померкла. Вдруг внезапно глаза Сергея сомкнулись. Он заснул, как ребенок, хорошо накормленный грудью. Ему не снились ни Мария, ни Матрена. Ему в мягкой туманной дали снились луга, река и лес...

Утром Сергей проснулся оттого, что Запон толкал его без особенной осторожности ногой в ребра.

Сергей проснулся с гигантским аппетитом.

— Ехать пора! Будет спать-то,—хрипел над ним Запон.

— А поесть у тебя нечего?

— Вчера, небось, куражился... Пойдем, баба даст малинового чая.

Сергей во дворе обдал себе руки, голову, лицо студеной водой из глиняного, подвешенного под навесом сарая умывальника, курносого, как его хозяин. Сергей окончательно повеселел. Даже крякнул. В избе напился малинового чаю с изюмом вместо сахара. Запон был экономный мужик.

Хозяин ударом кулака расхлебянил дверь во двор и вышел. Сергей за ним.

— Где же лошади?—спросил Сергей.

— В лугах,—спокойно ответил Запон, туже стягивая на своем брюхе бечевку, служившую ему поясом.

— Да как же это, что же?..—Сергей не знал, как еще убеждать озорника-мужика.

— Не плачь, идем со мной.

— Куда? В луга?

— Пошто в луга? К соседу. Лошади у него—огонь, ни одна не уступит моей.

Пошли к соседу, Прошке.

Прошка, однако, был гостеприимен до невозможности и заставил Сергея еще раз распарить свои кишки чайком с сахаром.

Только когда Сергей весь пропотел от чая, от злобы и досады на мужиков, которых не пропихнешь с места и медлительность которых вот-вот отдаст его в руки полиции, Прошка усадил его в тарантас, и лошади тронулись из ворот.

Тройка понесла Сергея лихо. Он не успел и оглянуться. А если бы оглянулся, то увидел бы у вчерашнего плетня Аксинью, которая большими, горящими, как алмазы, глазами провожала своего случайного милого...

Не заметил ее и Запон, а то бы расславил.

Дорогой Прошка пел песни и добросовестно гнал лошадей...

Проехав весь день и почти всю ночь, к утру, на заре усталая тройка с подвязанными у дуг, чтобы не звенели, колокольчиками привезла Сергея в Тотьму.

По темным дворам перекликались петухи, и кое-где лаяли собаки.

Сергей знал хорошо город, в котором он начал свою первую ссылку (да не закончил ее, бежал), но совершенно не мог придумать теперь, у какого дома остановиться. Как это он не предвидел такой важной детали?

На углу одной улицы в бледнеющей тьме вырисовалась фигура стражника с ружьем. Он, повидимому, делал ночной обход.

— Стой! Кто едет?—разрезал стражник тишину улицы хриплым голосом, как ржавой пилой дерево, и преградил собой дорогу тройке.

— Политический ссыльный,—бойко ответил Сергей и смело назвал свою настоящую фамилию.

Тройка остановилась. Стражник подошел вплотную, спросил:

— По каким делам?

— Да очень просто,—почти по-родному стал пояснять Сергей.—Я когда-то был здесь в ссылке. Потом меня перевели в город Яренск. А теперь я опять сюда перепросился. И вот приехал. Завтра утром явлюсь в полицейское управление к исправнику. А пока, господин стражник, скажите, где у вас живут политические ссыльные, чтоб переночевать. Как хорошо, что я вас встретил, а то и не знал, куда ехать.

— Да нашто лучше было бы переночевать вам в полицейском управлении.

— Ну, что вы, господин стражник, я ведь не арестованный, и вообще я достаточно насиделся за решеткой. Вот вам за хлопоты,—Сергей протянул рубль стражнику.

Стражник взял рубль и задумался. Сергей подумал,—дернул чорт его давать взятки. Стражник заговорил:

— Сыльных тут много. Вот, например, за тем углом живут господин с женой Лебуржуа, опять еж недало от них Ларионова, напротив нее Лурье, Кирилл Шутко...

— Спасибо! А скажите, живет ли еще здесь Баямбетов, татарин?

— А как же! Только он не в городе, а возле, в селе Варенцы. Тоже порядочный человек, магометан.

— Ну, впрочем, завтра в полицейском управлении я все узнаю. А сейчас поеду к Лебуржуа.

— Сейчас за углом, как минуете часовню...

Тройка тронулась.

— Хорошо, спасибо!—крикнул Сергей стражнику, радуясь своей находчивости.

Проехав еще какое-то расстояние, Сергей остановил ямщика и сказал:

— Давай, друг, распрощаемся лучше, а то знаешь...

Прошка понял.

— Конешно, в лесу сучки, а в городе крючки.

— Да я не боюсь, у меня все в порядке.

— Да мало ли что... Мы уж тут вашего брата сколько возим. Мы вас не выдаем. Вы полезные для нас, потому что с полицией боретесь. Мы ненавидим ее! У которого мужика-то вы ночевали, Запон, он постоянно таких опасных, как вы, мне препоручает везти: „На тебя, говорит, сраму не будет, если с беглым политиком попадешь, а мне, говорит, житья не будет". Это и верно. Он мужик богатущий, известный, на виду. Шкуру меха царю в подарок отослал, а вам всегда будет помогать.

— Хорошо помог!—попробовал еще раз отшутиться Сергей.—Чай дал без сахара, с изюмом, а царю—на шубу.

— Да ведь ты еще не царь,—убеждал Сергея Прошка.

— Но я и не беглый.

— Да полно плести-то! Что я, маленький, что ли? Ведь лишнего за это с тебя не возьму.

Сергей расплатился с ямщиком. Тот начал было рассказывать, что все крестьяне его села стоят за ссыльных и всегда готовы помочь „политике", поэтому в их село вот уже десять лет как никого не ссылают.

Сергей не дослушал. Пошел навстречу разгорающемуся утру.

Он слышал, как за его спиной Прошка повернул тройку, и она шажком стала удаляться неизвестно куда.

После встречи со стражником было бы сумасшествием садиться здесь из города на пароход. Невозможно также и засиживаться в Тотьме. Сергей знал, что за тридцать верст вниз по Сухоне первая после Тотьмы пароходная пристань. Туда надо добраться и там сесть на пароход. Но как туда добраться? Не лошадей же брать в городе. Даже и утра-то ждать не следует. И решил Сергей использовать предутреннюю прохладу—пошел пешком прямо по берегу красивой Сухоны. Когда взошло солнце, он умылся в чистой недвижной воде.

Сергей не шел, а почти бежал. Стражник, с которым он ночью разговаривал, казался ему медным всадником, до-

гоняющим его. Его догоняли. Но не люди, а тонкие и ясные золотые лучи восшедшего солнца. Они теплом уже начинали щекотать его сутуловатую спину.

ГЛАВА VI

МУЖИК-БОРОВИК

Когда перевалило за полдень и летний день казался пожаром целой земли (совсем не то, что было в тундре), Сергей достиг села на берегу Сухоны, где были пароходские пристани. У встречных он узнал, что до завтрашнего утра пароходов не будет. Следовательно, опять выбирай: либо снова пешком до следующей пристани, либо остаться ночевать. Сергей решился на последнее. Ноги подсказали ему такое решение, не совсем безопасное.

В такую жарищу на широкой пыльной улице села почти никого не было. Только вдалеке, на горизонте кто-то маячил. Сергей приблизился к „маяку". Это оказался низенького роста, весь взлохмаченный словно после тяжелого сна, мужик.

Он бесстыдно запустил пятерню под распоясанную рубашку и скорблил под ней ногтищами свой живот. Глаза его сосредоточенно топорщились на зад упитанной пегой коровы, которая через известные промежутки времени выла на закрытые ворота. Корова шлепала около себя большими кругами зеленую густую массу.

Сергей подошел к мужику и спросил, нельзя ли у него переночевать. Мужик по-бычьи скосил на него свои глаза, над которыми Шат-горою нависли космы нечесаных волос. „Гриб-боровик",—подумал про него Сергей. „Боровик" будто бы хотел обозлиться на Сергея за то, что он побеспокоил его, но ужасная лень задавила все более или менее острые движения психики.

— Ты хто?—негостеприимно ворчнул „боровик".

— Я приказчик у торговца Климова.

Сергей по первой своей ссылке знал, что в Тотьме есть такой купец „красного товара“.

— Что же ты теперь бегешь пешком? Должно быть, товару накрал у Климова-то?

Сергей не ожидал такого сорта догадки и смутился. „Боровик“ заметил это и подумал, что попал не в бровь, а прямо в глаз. Он принял Сергея за порядочного, крупного вора. Даже ободрил Сергея:

— Молодчина! Так ему и надо, Климову-то! Его не убудет... Переночуй у меня. Вон энта изба,—„боровик“ кивнул копной волос на маленькую убогую, покривившуюся хату, на дырявые ворота.

Сергей вошел в них. Во дворе под навесом баба, повязанная платком, доила корову. На Сергея даже и не оглянулась. Сергей вспомнил суеверие крестьян: нельзя отвлекаться разговорами с кем-либо или даже здороваться, когда доишь скотину. Сергей в нерешительности не знал, следует ли ему итти обратно или проходить дальше в избу. На всякий случай он подкашлянул. Что-то шевельнулось недалеко от Сергея. Он подумал—петух или коза. Вгляделся. Оказалось под лестницей в соломе, лицом к воротам, лежал на брюхе молодой парень.

— Что чихаешь, мил человек?—ласково обратился он к Сергею.

— Это не чих, а кашель,—подбодрился Сергей.—Переночевать бы.

Парень молча обозрел Сергея. Сергею стало грустно и скучно: наверное, опять начнутся нудные и опасные расспросы—кто да откуда. Проклятая полицейская привычка узнавать всю подноготную. Парень спросил:

— Беглый?

— Угу,—ответил мычаньем Сергей и посмотрел опасливо, не слышит ли баба.

— Политик?

— Мдаааа...—чуть выговорил Сергей, у которого появилось какое-то внезапное доверие к ласковому парню.

Парень встал. С него сыпалась солома.

— Здорово, брат, здорово! Я тоже ссыльный,—сказал он.

— Откуда, какой партии?

— Сызранский я. По приговору общества.

— Вон как!

— Мы будто помогали лошадей красть цыганам. А это неправда. Я только шел мимо и видел, как цыган распутывал ноги у лошади. С какой стати я буду цыгану помогать? Но мужики в нашей местности дураки. Они и без того давно метились на меня за политику. Я, видишь, в Москве солдатом был. Нас вывели против баррикад, усмирять, да сразу же испугались нас самих и увели в казармы. С тех пор кулаки и стражники в нашей деревне наседают на меня. А тут им такой хороший случай подвалил, будто с цыганами лошадей уводил... Пойдем-ка в избу. Я тут живу, на печке.

Парень немного раскорякой вошел на четыре приступка крыльца. Сергей и его новый товарищ очутились в грязной, неприбранной избе.

— Сейчас я достану хлеба и молока. Спать-то где будешь, на сеновале или в избе?

— Все равно.

— Ты, товарищ, спи в избе, а я—на сеновале. Ты откуда убег-то?

— Из дальних краев.

— Из Яренска, что ли, или из Ертомы?

— Да, оттуда,—на всякий случай прилгнул Сергей.

— Режь и ешь,—сказал парень, подавая каравай.

Вдруг Сергея что-то неясное, нехорошее кольнуло. Даже в жар бросило. Словно он ступил босыми ногами в вязкую глину.

Парень круто солил хлеб и крошил на него лук. Когда ел, лук хрустел в белых зубах его, и скулы трещали. За-

пивал молоком из березового бурака и подставлял его Сергею.

Вошла баба, поклонилась и недовольно спросила:

— Прохожий?

— Да, мать, странничек, по делу Христову,—ответил за Сергея парень.—А куда же ты пробираешься, мил человек?—спросил он тут же Сергея, будто продолжая прерванный разговор.

— Да думаю, думаю... в Сольвычегодск.

Сергей испытал потребность ни в коем случае не выдавать направления своего побега.

— Сольвычегодск?—и потом шопотом добавил:—Да ведь это же ссылочное место... Я думал, ты двигаешься к центру, в Вологду.

— Нет, мне не рука туда. Я Екатеринбургский. Путь мой лежит: Сольвычегодск—Котлас—Пермь—Екатеринбург.

— Так ты уралец?

— А то как же...

Баба в избе наследила черной грязью. Пришел мужик— „боровик". Он наследил еще больше. Сел, стал есть хлеб с луком и с крутым яйцом.

— Пойдем спать,—сказал парень Сергею.

— Ты мне за ночевку—гривенник,—сказал Сергею „боровик".

Сергей подбросил в подставленную мятую ладонь серебряную монету.

— Когда пароходы наверх, к Сольвычегодску?

„Боровик" удивленно на него посмотрел. Парень ответил:

— В полдень, часов в одиннадцать... Ты не беспокойся, товарищ, я тебя провожу. Лезь на полати-то. А я на сеновал пойду.

Когда Сергей устраивался под самым потолком на полатях, он заметил в окне, как промелькнула по улице фигура парня, за минуту до того брякнула калитка. Значит, он ушел со двора.

Сергей закрыл глаза. Он очень устал и должен был хорошо заснуть. Но глаза открылись. Он их снова сомкнул. Они сами разомкнулись.

— Тут душно,—сказал Сергей в пространство.

Он слышал как на печке вперегонку нарушали тишину два сапа: один звериный—мужика, другой птичий—бабы. Вдруг звериный сап приостановился, и послышалось бессвязное:

— Душно? Вишь барин! Иди на сеновал, к тому... Иди...

„Отчего же нет?"—подумалось Сергею. Он спрыгнул с полатей. Во двор. Ощупью, по трясущейся лестнице, забрался на сеновал. В щелях сарая мигали звезды, бледные и редкие на летнем небе. Слышались издали, с пруда заливистые серенады лягушек. Прохладно, сыровато. Сергей долго в разных направлениях шарил рукой, ища парня. Значит, он еще не вернулся. Сергей, однако, и здесь не мог заснуть. Напрасно подставлял лицо к щелям, чтобы обдувало ветерком с реки, напрасно кутался с головой в сено, чтобы не слышать назойливых лягушек и найти тепло от ветра. Не помогало ничего. С ним не было часов. Он знал, что пароход будет рано утром. Видно, уж на пароходе можно будет заснуть. Ночь эта скорее бы проходила! Какая-то она страшная, неожиданная.

В голове не было ничего. Образ Марии окончательно заслонился образом Матрены, а Матрена померкла от бесбессоницы, от общего упадка сил. Сергей сидел, обняв руками свои заострившиеся колени.

Будто тихо ударила щеколда у калитки. Сергей подтянулся на локтях к большой щели сарая. Впотьмах ничего не видно. Настоящая, родная ночь, не то что в тундре. Зато в тундре было куда спокойнее, без людей. По двору—легкие многие шаги. Сомнений нет: ловушка. Сергей втащил наверх лестницу. Без нее трудно было взобраться на сеновал. Потом в стене сарая, которая, по его расчетам выходила на зады,

на огороды, он стал осторожно, плечом выламывать доску. Доска сорвалась с одного гвоздя и повисла на другом. Образовалась небольшая брешь, в нее можно было пролезть только с трудом. Сергей просунул в нее голову, расцарапал грудь. Без жалости к своему телу оттолкнулся ногой и вывалился левым боком вон, в крапиву. Она ожгла, но спасла от ушиба. Он оказался в огороде, возле черной бани. Встал и тихо, сдерживая чувство боли, пошел прочь. Плевал на ладонь и смывал свою кровь с груди, с рубахи. Ускорял шаг, но без надежды на спасение. Ясно, что парень его предал, и теперь его ищут на сеновале,и вот-вот сейчас обнаружат дыру, а может, даже слышали, как он вылезал. Начнется погоня. Значит, все нечеловеческие усилия побега—на смарку. Прощай, революционная работа! Прощай Мария!.. Мария? А не все ли равно теперь, после того как познал Матрену?..

Далеко по застывшей в предутреннем покое реке послышался шум приближающегося парохода. Чу! Пароходный протяжный, к пристани, гудок. Что может быть прекраснее этого заунывного гудка на тихой грустной реке? Какая музыка может быть ласковее этой? Неужели спасение?

Сергей из всех сил бегом устремился к берегу, к пристани.

Вот пароход, уже видно его. Сияют огни, не потушенные еще со вчерашнего вечера. А за пароходом веером, сказочно-розовая, сказочно-счастливая заря. Опять утро. Загорается новая жизнь иного дня.

Пароход и Сергей одновременно приблизились друг к другу у края пристани. Какой-то матрос рассердился, что Сергей вскочил на сходни сломя голову. Обругал его „адиотом“. Сергею же это ругательство показалось таким приветствием, какого никогда он еще не слышал в самые нежные моменты от самой ласковой женщины.

ГЛАВА VI.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Деревянный губернский город не славился ничем. В нем даже городской театр, тоже деревянный, был похож на прачечную, потому что на балконах его развешивалось белье сторожей, капельдинеров, их жен и детей. Впрочем, славился он либерализмом своего губернатора.

В центре города на главной улице сосредоточивалась вся торговля. Там были все „гастрономы", все портные и все модистки. Их было три, последовательно, одна после другой поселившиеся здесь. Первая сделала себе вывеску такого содержания: „Первая модистка в городе В". Приехавшая вслед за ней, по соображениям конкуренции, написала: „Первая модистка в мире". Кое-кто смеялся над этим, но надпись делала хорошую рекламу. Приехала через несколько лет третья. Долго думала, какую сделать вывеску, и так как все они помещались на одной и той же улице, она придумала скромную, но совершенно убивающую ее конкуренток формулу: „Первая модистка на этой улице". Впрочем, она имела на это право: ее формула была оправдана ее работой. Хозяйка этого нового дела скоро приобрела симпатии всего города и в особенности ссыльных. Для них она была своего рода политической сестрой милосердия. Она ходила почти к каждому, кто сидел в тюрьме, на свидание в качестве невесты (переходящей от одного к другому), добивалась передачи вещей и денег. Многим помогла бежать. Она была совершенно свободна, владела собственным предприятием, которое обеспечивало ей порядочный доход. Она была умна, неизменно приветлива, симпатична и всегда грустна, несмотря на веселые слова, остроты, любовь к вечерам и вечеринкам.

Этим городом проходил в ссылку эсер Нименко. Сухой, жилистый, длинноногий, с длинной шеей, с острой и тоже

длинной дон-кихотской бородкой, рыжий и без двух пальцев на правой руке, он был неповоротлив как слон, вынослив как верблюд, сентиментален как сказочная Гретхен. Пел красивым басом-профундо, и в светлоголубых глазах его была почти детская наивная восторженность.

Этот человек предстал перед дамой-покровительницей ссыльных и протянул ей свою загорелую корявую трехпалую длань. Покровительница не ощутила неприятности от уродства руки. Ей было приятно его тепло. Нименко объяснил, что он должен отправиться в дальние северные уезды и что следом за ним, через месяц, самое большее через два должна проехать к нему его жена Фаина с маленьким, трехлетним сыном Федей. Нименко на разные лады и по каждому поводу просил оказать Фаине содействие.

— Вы увидите, она у меня настоящий ребенок. Она вовсе не знает жизни. Да, впрочем, вы увидите сами. Я уверен— она вам понравится...

Нименко был, как обычно все приходившие в этот дом, приглашен к столу, обедать. После тюрьмы обед у дамы показался Нименко прямо сказкой. Но Нименко, как человек воспитанный, старался не показывать восторга: он не глотал, не прожевав куска, не прищелкивал языком от удовольствия, хотя все это ему очень хотелось сделать.

После обеда дама села за пианино. Нименко пел. Он, должно быть, забыл, что у дамы есть другие дела, что он только гость, что, может быть, даже его пение не так уж радует даму, потому что он пел без конца, без отдыха, все с новым и новым воодушевлением, ревел, как самый счастливый теленок. К даме пришел по делам какой-то старичок-коммерсант. Он покашливал в кулак и выражал удивление, почему таких молодцов, как Нименко, отправляют в ссылку, а не на мариинскую сцену—конкурировать с Шаляпиным.

— Я—инженер, только что окончил Томский технологический институт. Я, знаете ли, сибиряк, хотя и украинец,— охотно рекомендовался Нименко, совершенно не замечая,

как старичку хотелось бы, чтоб Нименко поскорее ушел и дал возможность поговорить о торговых делах.

А когда рыжий певец ушел и потом уехал в далекий Северный край, даме вдруг показалась ненужной вся ее коммерческая деятельность. Да и она сама себе—ни к чему теперь. Сознание, что скоро приедет жена Нименко, вселяло какую-то непонятную досаду.

Между тем Фаина Нименко не являлась. Должно быть, проехала она прямо к нему.

Однажды талым весенним днем всеобщая невеста, возвращаясь из тюрьмы со свидания, нашла на своем рабочем столе письмо от Нименко. Не письмо, а исповедь.

Словно пьяный, Нименко рассказывал, что Фаина не приехала к нему, что она там нашла кого-то другого. Это сделала та самая Фаина, с карточкой которой он не расставался ни днем, ни ночью, которую любил так же стихийно, как стихийно сползает, ускоряя свое низвержение, глыба скалы, сорвавшаяся в пропасть. Разумеется, Фаина прислала бывшему мужу объяснительное письмо, такое любезное и такое милое, что Нименко ужаснулся, какой низкий и душевно маленький человек была его жена. Она обещала ему дружбу, идейную солидарность, даже помощь, даже какую-то хромую любовь,—словом, все двадцать четыре удовольствия, кроме самого главного, двадцать пятого,—той проникновенной интимности, которая между ними была. Нименко удивлялся, почему все это так вышло постыдно у Фаины.

Нименко признавался, что хотел лишить себя жизни посредством веревки, в лесу. Но лес был так красив и так спокоен, что сибиряк Нименко не решился осквернить его своим долговязым трупом. А раз отдуманное самоубийство не приходит больше в голову.

Нименко не знал, что ему делать без самоубийства. Вот поэтому и написал все подробно женщине, встретившейся случайно на его пути и обласкавшей его, как мать. Если

была бы мать Нименко в живых, он написал бы ей. Но старушки не было.

Прочтя страшное письмо, дама сгоряча решила было туда ехать—утешить несчастного. Но через полминуты здравого размышления отдумала. Вместо этого она написала ему очень резонное письмо о том, что мир велик и есть много других женщин. Она обещала ему, если он хочет конечно, устроить перевод сюда, в губернский город.

Нименко согласился, потому что ему страшновато было жить почти наедине с лесной чащей, которая, нет-нет, да манила его в свои мохнатые объятия...

Обвеянный многими полевыми и речными ветрами, Сергей переступил порог чисто убранной богатой квартиры в тот момент, когда в столовой гремел громкий смех нескольких здоровых мужских голосов, и среди них, как звук скрипки среди тромбонов, прорывался тоже веселый женский взвизг. Чтобы обратить на себя внимание, Сергей стукнул каблуками об пол. Голоса смолкли, но не сразу, а так, как смолкает шум морской волны, откатывающейся от берега. Перед Сергеем предстала черненькая низенькая женщина на резвых ногах. Привычно вопросительно осмотрела Сергея и прямо в глаза спросила:

— Вы от..?

— Я ни от кого, я сам от себя.

— Кто вам дал адрес?—недовольным голосом отчеканила дама.

— Если хотите—от Клавдии.

— Из Великого Устюга?

— Да.

— Так бы и говорили! Попали, как видите, во-время: мы только что садимся за обед... Маша! Еще прибор.

В ответ из кухни, от Маши, донеслись неопределенные звуки, похожие на выражение неудовольствия, заглушаемые звоном бьющейся посуды. Тем временем дама уже тормошила всех:

— Господа, позвольте представить... из Великого Устюга...

— А!..

— Ну, как там?..

— Мое вам!

Сергею совали в его грязные руки свои, чисто вымытые, его новые знакомцы.

Их было пятеро.

Один не столько от здоровья полный, сколько с болезненно вздутым животом и толстыми негритянскими губами. Черные, немного тяжеловатые глаза его были полны энергии и решимости—не устоять, если надо, во имя идеи ни перед чем. Голова его была гладко острижена, но на макушке была уже заметная свежая лысина. Слегка обрюзгшие щеки были давно не бриты. Голос хриплый, командующий, как у шкиперов. Руки толстые, для жестикуляции не подходящие, а он как раз это любит. Его называли Михаилом.

Другой был худ, высок, брюнет с нежно смуглой кожей, с женственными движениями; в глазах созерцательность, наблюдательность и скука. Конечно, с бородкой клинышком. Визгливый голос, картавит, в крахмальном белье и в страшно обдерганном костюме. Звали его то „теоретик“, то просто Виктор.

Третий—низенький, в черной рубахе и синих очках. Общий вид серьезен, даже страшен. Ноги кривые, в сапогах. Рабочий. Его звали почему-то не по имени, а по отчеству: Лукич.

Четвертый был настолько обыкновенен и сер, что можно было сразу сказать, что это провинциальный адвокат, меньшевик, Маркса держит у себя на столе неразрезанным, как евангелие или статуэтку.

Пятым был Нименко. Он сидел на подоконнике, курил трубку, окутывая себя табачным дымом, словно в дыму было уютнее, теплее жить.

Когда все стали садиться за стол, адвокат спросил Сергея:

— Как вы относитесь к последним событиям?

— Я?.. К каким, собственно?

— Кровавая история в Бодайбо,—пояснил „теоретик".

— Да, я читал вчера или третьего дня...

Не обращая внимания на Сергея, все стали продолжать, повидимому, вчерашний спор.

Рабочий утверждал, что в Бодайбо самодержавие дало трещину и что теперь пролетариат должен ее расширить и довести дело до открытого столкновения с царской властью. С рабочим были согласны и Михаил, и „теоретик", и Сергей. Адвокат же думал, что события в Бодайбо должны служить грозным предостережением вспышкопускательству. К мнению адвоката примыкал и Нименко, но не столько высказываниями, сколько мычанием и поддакиванием. Хозяйка дома полагала свои функции в том, чтобы мирить непримиримых, и радовалась каждому острому слову и изо всех сил старалась вызвать смех, думая, что идейное несогласие может в нем потонуть. У нее была еще и другая забота— все-таки поддерживать на некотором уровне спор, потому что, невзирая на добрый обед, Нименко все время порывался уйти. Спор его только и задерживал.

После котлет с макаронами спор разгорелся до такой степени, что Михаил выскочил и из себя и из-за стола и кричал над головой несчастного адвоката с таким видом, будто хотел на его пробор опустить что-нибудь тяжелое, например свой собственный кулак. Замешательством воспользовался Нименко и хотел скользнуть в прихожую, чтобы уйти, но за ним выскочила дама и, не обращая внимания на жаркую схватку между адвокатом и Михаилом, стала просящими и манящими глазами, хватающими ласково руками уламывать детину Нименко остаться.

Нименко наклонился к брюнетке, решительно дохнул ей в лицо табаком и басистым голосом с украинским акцентом бросил:

— Не моху!

С тем и ушел.

Сергей заметил, что у хозяйки едва заметно навернулись слезы и лицо ее сделалось вдруг маленькое, как куриное яичко. Все присутствующие сразу стали ей ненавистны, и пропал весь смысл обеда. Компот она раздавала так бросово, как подают назойливым собакам под стол.

Повидимому, „теоретик“ заметил изменившуюся ситуацию и сейчас же после компота попросил позволения удалиться, под предлогом итти в городскую библиотеку-читальню.

— А то закроют, и потом...

Но напрасно было мотивировать: хозяйка вполне была согласна, что надо торопиться.

Не унимался Михаил. Рабочий незаметно за спорами доедал второе блюдце компота, а адвокат нахальным баритоном требовал чашку кофе. Дама давала в душе в сотый раз клятву никогда не устраивать обедов со спорами. Вообще не приглашать публику, которая засиживается.

Воспользовавшись пассивным состоянием хозяйки, Сергей подошел к ней с вопросом:

— Вы, кажется, здесь всех ссыльных знаете?

— К сожалению,—томно ответила хозяйка.

— Гм... А знаете вы, здесь ли еще товарищ Мария?..

— Нерудова?

— Да, да...

— Вот именно к ней-то вы и должны сегодня направиться ночевать. Ее очередь. Вы легальный или нет?

— Легальный... Нет, то есть нет...

— Тогда нельзя, ни в коем случае нельзя! В ее квартире можете провалиться. Вы бежали откуда-нибудь?

— Да. Но я, видите ли, ее не подведу. Я уверен, если вы сказали бы ей, кто я, если бы она знала... Да нет, можно у нее безусловно.

— Иди ко мне,—пригласил рабочий.

— Но говорят, что очередь-то Марии.

— Да ведь это все равно, вот еще!—довольно свирепо вставил Михаил.

— Нет, уж я лучше по очереди.

— Ну, коли так, пускай,—с мягкой улыбкой, сразу осенившей все его лицо, заметил рабочий.—Ты ее раньше знавал?

— Именно. Я по воле с ней знаком...

— Вон что!—протянул адвокат, чтоб не быть в стороне.

— Смотри, у нее на рыжего напорешься!—захохотал рабочий.

— Неправда, неправда! Зачем такие вещи?..—сильно возмутилась хозяйка.

А Сергей густо покраснел и вдруг вспомнил Матрену. Наперекор самому себе, Сергей решил все-таки итти к Марии. Дама вызвалась его отвезти туда попозднее в своем экипаже.

Сергей чувствовал себя так, словно его приставили к холодной каменной стене спиной и больно помяли грудь острыми кулаками.

ГЛАВА VIII

БЕЛАЯ НОЧЬ

Дама, хватаясь за Сергея чаще и горячее, чем нужно, провела его задами густого запущенного сада к двухэтажному деревянному домику.

— Вон там,—шепнула она Сергею.

Тот поднял глаза и увидел в небольшом окне второго этажа маленький красноватый свет керосиновой лампы на фоне бледностальной северной ночи, словно первая звездочка в небе, еще светлом от заката.

Не на этот ли слабый огонек и бежал Сергей, подставив смертельной опасности всего себя?

Какая-то непонятная буря чувств поднялась в его внутреннем мире. Образ Матрены опять, потухая, вспыхнул и заплакал перед образом Марии. Ночь, мороз, звезды, белое зимнее утро, горячий жестяной чайник, арестантский вагон,

разговоры о Гамсуне. От Гамсуна и началось единение их душ, внутреннее объятие двух миров, окутанных холодом под ясными звездами. Это могучее единение дало Сергею толчок активнее восприять его борьбу, глубже ее понять, жертвеннее ей всего себя отдать. Он бежал к источнику своей силы, он притек к нему. Вот он! Но зачем же он испачкал этот свой чистейший путь бабой Матреной? Какими глазами он на Марию взглянет?

Зачем, зачем самокопание? Матрена... Что такое Матрена? Ведь не считал же он, сколько васильков он притоптал ногами во время пути! Притоптал потому, что васильки были на пути. Если бы не встретил их,—не растоптал бы. Вопрос совершенно механический. А что от него сердце гложет, и вот в особенности сейчас, когда откроется дверь и он увидит (наверное обнимет) Марию, так это пережитки старого, предрассудки.

Когда, слегка подталкиваемый сзади рукою дамы, Сергей очутился на темной деревянной лестнице, тотчас же наверху открылась дверь, и с керосиновой лампой в руках топоча каблуками, навстречу Сергею сбежала Мария.

Через плечо на грудь спускалась ее слегка распустившаяся белая коса. Мария сверху, сразу узнала его и ласкающим голосом говорила:

— Так вот вы какой! Так вот вы какой!

— А вы... вот какая, близко-то, вот вы...

Сергею казалось, что Мария хотела его поцеловать, но мешала ей лампа в руке.

Все трое поднялись в маленькую длинноватую комнатку; обитательница ее,—это было видно по всему,—хотела придать комнатке уют, но это у нее не выходило.

Дама заразилась их радостью и, вместо того чтобы хоть из приличия, как она его понимала, сказать несколько слов, удалилась со сладкой улыбкой на устах, как человек, сделавший самое доброе дело.

Тут только понял Сергей, что он боялся ухода дамы, не

сознавая сам этого. Третий человек иногда бывает совершенно необходим, как масло для машины.

Ну, что теперь делать Сергею вдвоем с Марией?

— Чай будем пить,—сказала Мария и убежала, скрипя половицами и дверями на кухню.

Этакое спасительное средство—наш милый чай! Непогода ли, дурное настроение ли, неклейность разговора или отношений,—во всех этих случаях помогает чудесная китайская трава.

Опустил голову Сергей и посмотрел на свои бахилы. Он в них прошел и тундру, и лес, и реки переплыл, и по дорогам шел, и васильки топтал. И зачем эти нежные голубые васильки попадаются под ноги? Посмотрел на руки свои,—они показались грязными. А ведь эти ладони и пальцы продирали, не жалея кожи и крови, лесные дебри, чтобы увидеть Марию и чтобы с ней начать новый, совершенно новый этап борьбы за истребление всего поганого, за установление коммунизма. А не пристало ли это поганое к рукам, к груди? Нет—не пристало! А Матрена-то? Далось же усталой голове его этакое досадное воспоминание! Довольно им царапать свою думу, как кошачьими когтями...

Вот пришла Мария с большим добрым чайником, как с теплой матерью, и с другим еще, маленьким, курносым, как сосунок.

— Я грязный,—сказал Сергей.—Позвольте умыться.

— Снимайте все ваши дерюги, я вам подам.

Заплескалась вода в тазу, в кувшине. Вода—истинный жизнедавец.

Потом пили чай, говорили о ссыльных, о том, как было трудно переписываться. И в это время словно в самом воздухе между ними стоял вопрос: а зачем переписываться, а к чему, собственно, это? И потому что они оба боялись разглядеть этот самый существенный вопрос, они оба наперебой старались говорить о „технике“—почему не все письма

доходят. Это завело их далеко. Говорили о перлюстрациях, о шпиках, о слежке, о разных режимах в разных исправничьих уделах, говорили о чем угодно, наматывали тему на тему, потом слово на слово, лишь бы не дотронуться до главного. А главное стояло колеблющейся тенью между ними, все сгущалось, пока наконец, как размотавшийся язык колокола, не ударилось в медь и не отозвалось глухо, обрывисто:

— Мария, вы попрежнему ко мне относитесь?

— Ну, конечно.

— Как тогда, на этапе?

— Но почему же бы нет? Ах, какой вы, Сергей, чудачище!

Сергей взял ее руки, сел поближе.

— Значит, дальше поедем вместе?

— Да вы и в самом деле чудак! Мне остался еще год, и я поеду свободной.

Сергей вспомнил, что он—агитатор и пропагандист. Почему ж не испытать в деле любви этот революционный метод? И Сергей начал. Речь его была живая и воодушевленная. Он рисовал перспективы: вместе бороться и, если надо, вместе погибнуть на баррикадах.

— Тише, а то хозяйка услышит,—вставляла Мария в самых патетических местах. В таких случаях Сергей из вежливости стихал на минутку.

Лампа вдруг страшно закоптила, замигала, вздохнула слепым огоньком в последний раз и умерла. Мария отдернула на окне штору. В окно глядела страшная белая ночь. Жуткая, нечеловеческая. Будто планета пространствами своими обращалась к каким-то новым, еще не видимым лунам, которые вот-вот появятся на горизонте, страшные, немые, белесые, как бельма в небеси.

— Великолепно!—восхищалась Мария. Она была близорука. И, может быть, в самом деле ей приятно, что она нашла такой свет, который бледнее обычного солнечного.

— В тундре всё это было пострашнее,—похвалился Сергей. Но он кривил душой: в тундре было не так страшно, как здесь, сейчас. В тундре все было ясно, поэтому даже мох был родным, а здесь—неизвестно, считает ли Мария Сергея только ночевальщиком или больше, иначе. Не поймешь. И от этого как-то нет внутренней, несловесной связи у него с Марией. Не налаживается что-то.

Мария села поближе к нему и ласково сказала:

— Ну, вы такой хороший оратор, расскажите же мне по порядку, как вы это шли, как вам удалось... Ведь это же—целый Майн-Рид!

— Что ж, слушайте.

Сергей был рад, что тон, кажется, нащупывается. Он сейчас ей про себя расскажет и увлечет ее. Но вдруг на ее столе он заметил портрет Нименко. Это сразу покоробило его язык. Рассказ Сергея сразу сделался таким же бессочным, как белая ночь.

— Я как-то устал сегодня,—пояснил он.

— Так ляжемте спать, это зависит от вас. Я вам давно хотела предложить, но вы как-то увлеклись. Кстати, вам завтра рано вставать. Я тоже приду на вокзал посмотреть, как вы подете. Но буду в сторонке, а то шпики...

Как все обыкновенно, пошло! Неужели это—та самая Мария, что говорила о Гамсуне, что писала записки в тюрьме, что писала ему письма, о которой он так горячо мечтал? А сейчас—это не Мария, а какая-то благонамеренная родственница, тетка, что ли...

И вдруг, как пьяная, вторглась Сергею в усталую башку вздорная мысль: „Она такая потому, что я мямлю. А если сейчас броситься, схватить ее... Наверное, все в подобных случаях так и делают".

— Почему вы на меня так исступленно смотрите?—отрезвила его Мария.

А в комнате у Марии было так тепло, уютно, мягко.

— Мария, я—человек. Хочу тебя, с тобою неразлучно,

всюду! Не заставляй меня говорить непременно по-тургеневски...

Она положила свои обе руки в его. Он вздрогнул. Она этого не почувствовала.

— Сергей, я об этом, о нас долго думала. Ведь мы так мало виделись! Я хотела бы проверить свои к тебе и твои ко мне чувства. Именно поэтому мы должны сейчас расстаться.

— Контроль над собой?

— Да, да, непременно!.. Вот если мы будем в разлуке и никем другим не увлечемся, тогда, значит, у нас по-настоящему. И тогда...

— Что считать увлечением? Я могу быть привязан к одной постоянно, а увлекаться многими.

— Э-э-э, нет! Так не годится.

Мария замотала головой. Сергея обожгло, когда он заметил, как красив был пробор посредине девичьей головы Марии. Он нежно взял Марию за плечо. Она не отстранилась.

— Так не будем спать всю ночь,—сказал Сергей тихо, после долгого поцелуя.

— Да, ночь не такая, чтобы спать.

Они уселись поближе, подружнее на скрипучую кушетку. Смотрели то в глаза друг другу, то на звезды.

Мария рассказывала ему о трагедии Нименко.

— А я тут заметил еще одну трагедию. Трагедию известной тебе дамы.

Они сидели так близко, что „вы“ не шло к разговору.

— Да? Правда? Ты, однако, наблюдательный... Она трагически в него влюблена.

— А он?.. Он меня больше интересует. Это его портрет у тебя на столе?

Мария покраснела нежно-розово.

— Да, это он. Он ищет меня всюду, ходит за мной. Признался однажды, что будто бы я страшно напоминаю ему

его жену. (Тут уже Сергей залился густой краской ревности и ненависти к Нименко, а может быть, и к Марии.) Я принуждена была дать ему карточку. А он,как вежливость—свою.

— Так вы бы держали ее в столе.

— Не ревнуй, Сережа.

— А ведь ты сама говорила: не ревнуешь—значит не любишь.

— Ну, тогда—ревнуй. Верно, он очень хороший и очень несчастный человек. Его карточку я держу у себя из жалости к нему. Он приходит ко мне играть в шахматы. Сидит, молчит и радуется, видя на моем столе всегда свой образ. Но, серьезно говоря, ты не ревнуй. Во-первых, ведь Нименко уже совсем немолодой. А во-вторых, даже подумать... ха-ха-ха!.. нет, только подумать, только представить себе... ха-ха-ха!.. Милый Сергей!

Мария смеялась искренно, мило, серебристо.

У Сергея все отлегло. И опять они смотрели то в глаза друг другу, то в очи свинцового, теперь уж беззвездного неба. Им было так тесно и душно, что Мария уж с трудом настаивала на проверке, на отсрочке, и удалось ей настоять только потому, что утро подоспело незаметно. Предательская белая ночь незаметно провела его под своим бледным саваном.

Утром рано пришел Нименко и сообщил, по поручению дамы, неприятную для Сергея весть: сегодня из Петербурга должен приехать какой-то важный чиновник, поэтому вокзал переполнен шпиками и жандармами. Во всяком случае Нименко было поручено немедленно перевезти Сергея на квартиру дамы и предложить ему отсрочить отъезд. Против этого Сергей запротестовал немедленно и смотрел на Нименко глазами личного врага, как орел на другого хищника, укравшего добычу. А когда еще и Мария присоединилась к предложению Нименко и заговорила об отсрочке, Сергей потерял терпение и подразнил ее:

— У вас, Мария, во всяком деле отсрочки, а у меня их не будет.

Сергей, однако отправился к даме, так как Нименко сказал, что там же будет Михаил, товарищ весьма опытный в конспиративных делах.

Михаил, действительно, был уже у дамы. Разговор за утренним кофе был беспокойный, но короткий. Решено было, по совету Михаила, что Сергей поедет сегодня же, с первым отходящим поездом. Сергей без вещей придет не на вокзал, а с другой стороны, к полотну железной дороги против вокзала, и будет до последней минуты перед отходом поезда тереться среди рабочих, которые как раз недалеко от той линии, где должен быть петербургский поезд, ремонтировали запасные пути. Потеревшись среди них, Сергей в последний момент вскочит в поезд, но не со стороны платформы. Для вящшей предосторожности за Сергеем должен будет наблюдать кто-нибудь из товарищей. Наблюдатель должен стоять на платформе и в междувагонные пространства видеть Сергея, и чтоб Сергей видел наблюдателя. Если последний заметит, что в поезд садятся шпики или жандармы, то будет отчаянно сморкаться. И в этом случае Сергей не должен вскакивать в поезд. Тогда, значит, поездка откладывается и Сергею подлежит возвратиться к даме. А если никакого сморкания не последует, значит смело влетай в вагон.

Долго обсуждался вопрос, кого из товарищей послать на вокзал в качестве наблюдателя. Так ни на ком определенном не остановились, но решили, что во всяком случае таким наблюдателем должен быть тот, кого Сергей знает в лицо.

Михаил заключил:

— Не беспокойтесь, товарищ. Идите, кто-нибудь из нас будет. Внимательно только смотрите, сморкается он или нет.

Сергей по-дружески почти всех расцеловал. Сердце сжалось тоской, что не было Марии. Сергей зашагал по улице

так решительно, словно бросился без оглядки в опасный, неизвестный океан.

Найдя железнодорожные пути около вокзала, Сергей скоро заметил группу рабочих, работающих лопатами и ломами над прокладкой рельсов. Сергей вынул кисет с махоркой, закурил. Предложил низенькому белокурому парню из той группы рабочих, которая ближе всего была к поезду, уже стоявшему у платформы. Сергей стал внимательно косить глаза в пролеты между вагонами на платформу. Оттого, что все время приходилось коситься на платформу, разговор у Сергея с парнем не клеился. Говорили о пустяках. Сергей даже чесался, чтоб не стоять около рабочих без дела.

Вдруг в одном пролете Сергей увидал Марию. Она его тоже нашла глазами. Простояв несколько минут спокойно, Мария вдруг страшно начала сморкаться. У Сергея забилось сердце тревогой, радостью и ревностью—все вместе. В самом деле, значит в поезде неблагополучно, и значит можно будет провести еще одну ночь с Марией. Ах, если бы только с ней! Но ведь у нее на столе—этот хохол, волкодав Нименко. И Мария с ним, с ним солидаризировалась. Ревность взяла в Сергее окончательно верх. Вот, в самом деле, случай показать Марии свое удальство и заодно отомстить за проверки, за контроль, за отсрочки... Ревность сильнее всего на свете.

Пусть Мария старательно делает знаки, чтобы не ехать. Сергей поедет и окунется в полную опасностей подпольную революционную работу. Находчивость, ловкость, наблюдательность, здоровый инстинкт зверя, борющегося за свое существование, спасут его от жандармов. Прощай, Мария, неверная Мария! Прощай!

Послышался третий звонок. Резкий свист кондуктора пронзил уши Сергею. Смотря хохочущими глазами на то, как Мария сморкалась чуть не в два платка, какими испуганными глазами наблюдала за ним, Сергей вспрыгнул в

вагон тронувшегося уже поезда. Прощай, Мария! Сергей высунул голову из окна. Видел, как Мария держала высоко над головой платок как прощальный сигнал.

Прощай, Мария!

Застучали колеса по шпалам навстречу борьбе и великим событиям.

И как-то сразу мир преобразился, и Сергею стало до последней степени ясно, что он покинул белую снеговую пустыню только для революционной работы. А эта работа есть способ борьбы человечества за свое существование против отбросов, тяжелой грудой застилающих его путь.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Ц. 3 р. 50 к.



АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:
Москва, — центр, улица 25 Октября, 10
СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, центр, Большой Черкасский, 2
Книгоцентр